

Библиотека советской фантастики

С. ГАНСОВСКИЙ



ИДЕТ ЧЕЛОВЕК

Север Феликсович Гансовский родился в 1918 году в Киеве. Работал юнгой и матросом в Мурманске, затем грузчиком и электромонтером в Ленинграде, где окончил вечернюю школу-десятилетку. В 1941 году ушел добровольцем на фронт, был снайпером и разведчиком в морской пехоте. Демобилизовавшись после тяжелого ранения, работал в Казахстане на конном заводе. После войны вернулся в Ленинград, окончил филологический факультет университета. Сейчас живет в Москве.

Печататься в журналах и газетах Гансовский начал еще студентом. В пятидесятых годах в Детгизе вышли две книги его рассказов.

Занимается Север Гансовский и драматургией. Его пьесы «Северо-западнее Берлина», «Люди этого часа», «Сильные на вахте» и «Нас было 20» получали высшие премии на всесоюзных и международных конкурсах.

В научную фантастику Север Гансовский пришел в 1963 году с выходом в свет сборника рассказов «Шаги в неизвестное». В дальнейшем были опубликованы книги «Шесть гениев» и «Три шага к опасности».



# СЕВЕР ГАНСОВСКИЙ

# ИДЕТ ЧЕЛОВЕК

С б о р н и к  
научно-фантастических  
повестей и рассказов



Издательство ЦК ВЛКСМ  
«Молодая гвардия»  
1971

P2  
Г19

**Обложка и рисунки автора**

## ИДЕТ ЧЕЛОВЕК

Над широкой равниной у края зубчатых гор кружились облака, и наконец первый раз за много дней, даже месяцев, выглянуло солнце. Просвет в небе все увеличивался, посветлели буковые и грабовые леса, переплетенные лианами и виноградом дубовые рощи, поляны, заросшие густой низкой травкой, и степь, где трава человеку по пояс.

Лошади, зебры и козлы в смешанных стадах отряхивали короткую шерсть и фыркали, вертя головой. Угрюмый носорог, живой яростный таран, вышел из кустарника на открытое место, понюхал воздух, шумно втянув его в широкую грудь, удовлетворенно хрюкнул.

В стаде лесных слонов вожак — брюхо у него все поросло густым длинным волосом — громко протрубил, приказывая своим родичам перестроиться для выхода на поляну. Выдры и лисицы вылезали из нор. Гигантский бобер — ростом с современного волка — блаженно жамурился на берегу глухой лесной черной речки.

Солнечный луч пробился через несколько навесов зеленых листьев и упал на лоб леопарду. Он открыл один глаз, потом закрыл его. Ему не хотелось двигаться, так приятно было ощущение тепла.

И бегемот на болотистом плесе реки тоже радостно

зафыркал. Он мерз в течение долгих месяцев, не понимая, что происходит и отчего ему постоянно холодно. Он был последним бегемотом в этих краях. Его породе надлежало вымереть от наступающего с севера похолодания, но он не знал этого и только удивлялся, что нигде не встречает ни самок, ни молодняка, ни таких же старых, матерых самцов, как сам.

Солнце светило, капли только что кончившегося дождя сверкали в листве и в травах, все запахи на равнине переменились, став гуще и сильнее.

И тогда в предгорье, на полянке недалеко от ручья, проснулся Его Величество Пещерный Лев. Сначала шевельнулся кончик хвоста, затем волной подернулась шкура на спине, затрепетали ноздри широкого черного носа, открылись желтые глаза. Лев поднял могучую голову, привстал, погнулся, выгнув спину и царапая землю когтями передних лап. Он встряхнул гривой, глубоко вдохнул, с шумом выдохнул и потоптался на месте. Тут же лежали остатки кабана, зарезанного день назад. На спине и задних ногах еще было почерневшее мясо — его не съели мучающиеся голодом гиены, не решились подойти близко к спящему Владыке.

Лев лениво тронул объединенную кабанью голову, постоял миг рядом, чуть присел, с неожиданной легкостью бросил в воздух свое четырехсоткилограммовое тело, пролетел десять метров и мягко, как пролился, опустился на траву возле ручейка. Не дрогнула, а лишь плавно качнулась головка ромашки в сантиметре от его лапы.

Пещерный лев опустил голову, напиллся воды, чавкая. Широкий розовый лист языка облизал губы — серой обезьяне, вжавшейся высоко над ручьем в ствол дерева, странно было видеть этот язык, такой беззащитный среди жутких белых клыков.

Затем Его Величество еще раз потянулся, мурлыкнул дважды, как бы примериваясь, пробуя голос, полуприсел на задних лапах, набрал воздуха, из глубины себя пустил низом могучий, все обнимающий рев.

Звук пошел по травам, заплутал между деревьями леса, пронесся над болотами, лугами и потек степью.

И все живое на километры вокруг замерло, застыло на мгновенье. Стада зебр и лошадей остановились, как бы натолкнувшись на невидимую стену, леопард в чаще привстал и окаменел, вожак слоновьего стада растопырил уши.

Звук нагнетался толчками, нагоняя тоску, обещая смерть и заволаживая. После минутного оцепенения прыгнул в воду бобер, крупным махом пошел в глубь лесной чащи леопард — сам яростный боец, он все равно не хотел очутиться на одной дорожке с пятнистым желтоглазым царем. Слоны потянулись на открытое место, повернуло в сторону от приречных кустарников стадо буйволов. ошалело ринулся, не разбирая куда, носорог. Земля задрожала от тысяч копыт — побежали лошади и зебры.

Всемогущий знал, что он предупреждает свою будущую жертву, но знал также и то, что она не уйдет от него. Слон, буйвол, антилопа все равно живут там, где они живут и где им знакома местность. Страх не заставит их покинуть пределы знакомого — ведь там, за этими пределами, ждет еще больший страх. Лошадь не побежит от волка по неизвестным местам — ей нужно знать, на какой проплешинке между трав она вдруг резко свернет в сторону, заставив преследователя проскочить вперед. И олень не станет мчаться куда придется, а поскачет известной ему тропинкой, чтоб не застрять рогами в ветвях мелколесья.



Владыка чувствовал, что звери лишь перегруппируются, но не уйдут далеко, и этой именно перегруппировки он хотел, рассчитывая найти свою жертву там, где ей должно быть. Как шахматный игрок в эпоху человека и шахмат, он желал, чтоб противник правильно разыгрывал определенный дебют, — так ему было удобней.

И действительно, на границе своей территории стада копытных остановились, постояли и повернули обратно, леопард сделал большой круг и вернулся почти туда же, где был. Все стало пастись. охотиться, принимать, прислушиваться. Но напряженно. Ожидая, пока новый, удовлетворенный рык скажет: «Я поймал, я сыт. Живите».

Пещерный лев еще потянулся и сел, то выпуская, то убирая когти.

Он был великолепным устройством для убийства. Самым совершенным, какое пока еще знала история Земли. Доведись ему встретиться с тиранозавром, крупнейшим из хищных ящеров, от которого льва, правда, тоже отделили миллионы лет, желтый царь одолел бы, наверное, и тиранозавра. Ящер был громаден, но туп, малоподвижен. А у льва были не только стальные мускулы, но и хитрость, и мгновенная реакция.

В нем природа дошла до высшего. Такой грудью с перекачивающимися мышцами, такими когтями и клыками, такой силой в задних лапах, бросающих его тело на десять-пятнадцать метров, не мог похвастаться никто. Каждое его движение было законченным, почти художественным. В нем пела музыка, он был живописен и скульптурен. Им, Его Величеством Пещерным Львом, природа как бы говорила то, что она в дальнейшем скажет человеческим искусством.

Лев перескочил через ручей и, не таясь пока еще, сошел в лесостепь на охоту. Страх катил перед ним, как артиллерийская подготовка; все живое, за исключением мелочи вроде птиц, белок и разных жуков, разбегалось, оставляя мертвую зону.

Человек по имени Уц, старый, но крепкий, стоявший на холме в нескольких километрах от лежки льва, услышал голос желтого царя уже ослабленным. Тяжкий, все заполняющий рык и дошел до Уца лишь потому, что тот тоже обладал почти звериным слухом. Человек понимал, что Владыка вряд ли придет за добычей так далеко, но плечи у него дрогнули. Он отметил в уме, что на охоту надо будет идти сегодня в другую сторону.

Сжав деревянное копье с каменным наконечником — слишком ничтожно оно было и против всемогущего льва и даже молодого клыкастого кабана в лесу, — Уц оглянулся на стойбище.

Обрыв над рекой был источен глубокими пещерами, где поселились люди орды, в которой старшим был Уц. Целых полгода — от самого низкого солнца до самого высокого — почти вся жизнь совершалась там, внутри. Из-за дождя. Туда доставляли добычу, там ее жарили. Туда женщины и дети приносили мягкие сладкие корни и луковичи, если их удавалось найти. Там спали у костров и сидели днем, глядя на потоки воды, завесой падающие с небес.

Но сегодня появилось солнце, и тотчас орда выбралась наружу из сырости и холода каменных убежищ.

На трех больших кострах жарили остатки зарезанного леопардами молодого носорога — звери сожрали только голову, живот и уши. Бородатые мужчины готовили

оружие — обкалывали кремневые ножи и рубила, оббивали наконечники для копий. Женщины, распластав на земле оленьи шкуры и прибив их по краям колышками-сучками, отскребали изнутри мясо и жир. Одна из них, молоденькая девушка с копной светлых волос, с повязкой из беличьих шкурок вокруг пояса — ее звали Ру, — посмотрела на холм и улыбнулась. Неподалеку в реке, стоя по пояс в воде, несколько человек ловили рыбу прямо руками. Поймавший выбрасывал добычу на берег, там дети собирали ее и относили к костру. Был как раз ход рыбы

Все шло в общий котел — закон, никем не высказанный, но само собой разумеющийся. С этим законом рождались и умирали. Даже маленький ребенок, хоть и ослабевший от длительного голода, тащил в стойбище съедобный корень, а не совал себе в рот.

Люди орды были некрупные — сто шестьдесят, сто семьдесят сантиметров ростом. Женщины поменьше, мужчины побольше. Они были и не сильные. Во всяком случае, слабее всех животных одного с ними размера и веса. Самый крепкий охотник, не будь с ним ножа, не смог бы справиться даже с антилопой.

У них были выпрямленные фигуры, длинные руки и ноги. Высокий, прямой, а не скошенный лоб и челюсти, которые не выдавались вперед.

Эти люди очень редко встречали других таких же, себе подобных. Они не знали, откуда пришли сюда, но теперь им стало совсем плохо в предгорье. Плоды и мучнистые корни поблизости были все съедены. Мелкая дичь разбежалась, а ходить за ней далеко в степь они не решались, опасаясь леопардов и других хищников.

Следовало уходить отсюда, но людям страшно было оставить удобные пещеры, где было не так холодно во

время дождей и бурь и входы в которые можно было заваливать камнями на ночь.

Уц посмотрел на стойбище, потом на небо. Опять накатывали тучи, готовясь поглотить солнце.

У него заныли кости — так хотелось тепла и света. Бабка рассказывала ему, что прежде было гораздо лучше. Он и сам смутно помнил жаркие лета, одно, может быть, два. А дальше так оно и пошло: дождь да дождь. Была даже зима, особенно холодная, когда с неба посыпалось белое. Десятки бегемотов умерли тогда у реки. Пировали гиены, но орда почти не воспользовалась мясом огромных неповоротливых зверей. Слишком холодно было. Люди укрылись в пещерах. Кутались в шкуры, но все равно многие погибли к весне.

Рядом с Уцем сидел на траве хромой Яро, молодой охотник, которому кабан недавно пропорол клыком ногу. Сейчас Яро не мог охотиться наравне с другими мужчинами и почти все дни проводил у костра, изготавливая ножи и наконечники для копий.

Он держал в руках толстый, длиной в человеческий рост сук березы. Сук был сырой, он отвалился давно, дерево внутри сгнило и высыпалось, осталась одна кора. Заглянув в один конец, можно было увидеть в другом небо и лес.

Яро поворачивал сук и так и этак. Он заткнул более узкую дыру травой, принялся сыпать туда песок. Потом высыпал и продул отверстие.

— Зачем Яро сук? — спросил Уц. — Сук легкий, суком нельзя ударить.

— Яро не знает, — ответил хромой. Он говорил, держа у рта березовую трубу, и его голос получился неожиданно низким и гулким.

В те времена еще не знали слов «ты» и «вы». Люди го-

ворили о себе и обращались друг к другу только по имени.

Девушка Ру, оставив свою шкуру, поднялась на холм.

— Пойдет дождь, — сказала она. — Ру хочет убрать костер в пещеру.

Уц покачал головой.

— Нет. Сучья сырые, и пойдет сильный дым. Пусть костры горят здесь.

Девушка шагнула к Яро. Она и пришла ради него. Тот поднялся, держа в руках трубу. Они стали рядом, двое молодых людей. Степь и лес простирались перед ними. Вдали видна была группа слонов, а за ними темной массой стада лошадей. Тучи сгущались, одна налезала на другую. Только над горной грядой было чистое небо.

Старик Уц смотрел на него.

— Яро не идет на охоту? — спросила девушка.

— Нет. Яро будет здесь, — ответил хромой, и это так громко прозвучало через березовую трубу, что девушка отскочила и потом, засмеявшись, положила руку на сук.

— Дерево кричит...

За полдня пути от стойбища, где звери были не такими пугаными, трое охотников орды подкрадывались к лошадям. Это было долгое и трудное дело. Животные стояли на открытой поляне — четыре самки и самец. Кобылы опустили морды в траву, паслись. А самец оглядывался по сторонам. Принюхивался, прислушивался, шевеля ушами.

Подбросив в воздух травинку, охотники определили направление слабенького веерка, затем стали ползти таким образом, чтоб он дул от животных к ним. Ножи и

мешочки с наконечниками они оставили в кустах и двигались налегке, только с копьями. Иногда они застывали неподвижно, затем принимались ползти так медленно, что их не испугался даже выводок кроликов неподалеку.

Они проползли две трети нужного расстояния, когда ветер переменился. Им пришлось вернуться в кусты, сделать большой обход и начать подкрадываться с другой стороны.

Когда до животных осталось только двадцать шагов, но кидать копьё еще нельзя было, жеребец забеспокоился. Издав короткое ржание, он стал всматриваться в траву, где затаились Ог Длиннорукий, Мав Быстрый и еще один охотник, которого звали Рам.

Самец насторожил уши, долго-долго смотрел в траву, потом отвернулся. Но люди не шевельнулись. Это ведь было соревнование в хитрости, и победитель получал жизнь. Жеребец опять посмотрел в их сторону и лишь потом опустил голову, приюхиваясь к зеленым побегам.

Тогда трое проползли еще пять шагов, разом вскочили и кинули тяжелые неуклюжие копья. Только одно попало самцу между ребер.

Маленькое стадо бросилось прочь, жеребец тоже поскакал. Охотники, у которых мускулы от напряжения ослабли, не стали его преследовать. С радостными криками они уселись на траву, потом, отдохнув, вернулись в кустарник с ножами и другим имуществом и затем уже направились по кровавому следу.

Жеребец упал в полусотне шагов от них. На губах у него выступила красная пена. Увидев приближавшихся охотников, он вскочил, подпрыгнул, как бы угрожая им, и из последних сил побежал вниз по каменистой ложине. Копье болталось у него в боку.

Охотники пошли за ним. Лощина круто сворачивала.

Трое повернули и опять увидели зверя лежащим. Это была прекрасная добыча. Такая, что редко доставалась им. Теплое свежее мясо, настолько мягкое, что его и не жареным хорошо было есть.

Ог Длиннорукий вынул из мешочка рубило.

Но Рам вдруг остановился. Какой-то особый запах обеспокоил его.

Он посмотрел в сторону и увидел человека. Вернее, человеческого ребенка. Мальчика. Смуглого, очень коренастого, шире их самих в плечах, хотя он был далеко не взрослый. Волосы у него на голове росли не такие, как у трех охотников, а прямые, жесткие, как лошадиная грива. Руки в бугристых узлах мускулов, а взгляд почти звериный, испуганный, но пристальный и жестокий.

Мгновенье детеныш-получеловек смотрел на охотников, затем метнулся в кусты.

А в сотне шагов по ложине горел костер, возле которого стояло несколько гигантских существ в повязках из звериных шкур и с каменными топорами в руках.

Тогда трое охотников, не думая ни секунды, не сговариваясь и сразу забыв о своей добыче, повернулись и кинулись прочь. Они бросили копья, чтоб те не мешали им, и, выбравшись из лощины, понеслись длинными прыжками. Им уже было ни до чего. Смерть посмотрела на них, и гибель нависла надо всем стойбищем. Они наткнулись на орду Бродячих, чьим главным занятием была охота на людей.

Сзади они слышали крики. Бродячие начали погоню.

Около четырех десятков мужчин, женщин и детей растягивались в широкий полукруг. Они знали, что догонят, — по-звериному выносливые и втрое-вчетверо сильнее некрупных охотников.

Это было странное ответвление человеческого рода —

Бродячие. Люди, а может быть, и полулюди, в которых развитие пошло в сторону силы. Огромные, до двух с половиной метров роста, они могли руками задушить лошадь и даже тигра, но умели также добывать огонь и делать себе оружие из камня. Разум теплился под узким лбом, но низкий, придавленный свод черепа не позволял мозгу увеличиваться. У них были отчетливые, как у гориллы, надглазные валики, вытянутые вперед челюсти, короткая, толстая, заросшая волосами шея. Они ходили на чуть согнутых ногах, приготавливали себе на ночь гнезда из ветвей или травы или просто спали у костра сидя, обняв ноги руками и положив голову на колени. Они становились все сильнее и мускулистее из поколения в поколение, боясь на земле только владыку — Пещерного Льва. Но постепенно гигантское тело с маленьким мозгом стало требовать слишком много пищи. Они уже ушли от зверей, им было трудно тягаться с ними в проворстве, а брюхо при толстых костях и тяжелых грудях мышц было ненасытным. Это был Человек Сильный, а не Человек Разумный.

Всегда страдая от голода, они сделали своей добычей тех, кто тоже не обладал ни звериным нюхом, ни силой, ни ловкостью. Бродячие истребляли орды таких же, как они, людей, кряжистых и низколобых, заросших волосами, но только поменьше ростом. Тонких и стройных охотников они встретили впервые и поняли, что их ждет пиршество.

На миг выглянуло солнце и осветило всю картину. Степь со стадами лошадей и козлов, лес, у кромки которого слоны обламывали ветви с деревьев, три маленькие фигурки убегающих охотников и широкий полукруг Бродячих.

Сначала трое оставили преследователей далеко поза-



ди. Они были быстрее, но знали, что это не спасет их, не обладающих неутомимостью Бродячих. На их памяти уже было одно такое нападение на стойбище, когда только случайный лесной пожар отрезал от людоедов кучку спасшихся.

А Бродячие не очень спешили. Они не только охотились в этот момент, но и переселялись. Все свое было у них с собой. Женщины несли детей и шкуры, у мужчин на поясе, болтаясь на ходу, висели ножи и рубила. А каменные топоры были в руках. Им было все равно, где осганавливаться на ночь. Они знали теперь, что где-то есть стойбище охотников, что они перебьют там всех и там же останутся, запасшись пищей на два-три дня.

Опередив Бродячих на несколько сотен шагов, Ог, Рам и Мав Быстрый разом, как будто их объединяло общее чувство, упали в траву, проворно поползли до полосы кустарников, там поднялись и, прикрываясь зарослью дубняка от преследователей, побежали под углом к прежнему направлению.

Охотникам нужно было добраться до реки, броситься в нее и оборвать там свой след.

Но еще десятки километров отделяли их от поросшего тростниками речного ложа.

Они бежали час, равномерно, молча, не оглядываясь, поскольку знали, как много сил берет и поворот головы и даже одно только на бегу сказанное слово.

Однако Бродячие не сбились. Неровная степь скрывала от них охотников, но рядом с главой племени скорой рысью двигались следопыты, принимаясь на ходу. Они пошарили по кустам, показали новое направление, и орда повернула на восход. Она распадалась постепенно на два эшелона: мужчины и дети повзрослее впереди, женщины сзади.

Бродячие двигались неотвратно, как наводнение или обвал, они должны были все равно настигнуть свою добычу.

Возле новой полосы кустарников преследуемые охотники опять остановились. Двое уже начали заметно уставать. Грудь и плечи у Ога с Рамом покрылись потом, они дышали тяжело. Только Мав был свеж.

Трое бросились на траву, отдышались. Потом Мав сказал:

— Ог пойдет сюда, — он показал рукой. — Рам побежит сюда. А Мав Быстрый пойдет в стойбище. Ог и Рам покажутся Бродячим.

Двое охотников согласились и кивнули. Чувство связи со своим родом было у них сильнее инстинкта самосохранения. Они понимали, что должны пожертвовать собой, чтоб Мав мог предупредить стойбище. Ог и Рам поднялись и побежали к виднеющемуся вдаль лесу. А Мав переждал еще немного, пополз вдоль кустарников и, оставляя между собой и Бродячими невысокий холм, пустился к реке.

И снова преследователи не поддались на хитрость. Им была знакома такая и у зверей встречающаяся повадка, когда животное отвлекает охотников на себя, чтоб спасти молодняк. Только двое гигантов бросились за Рамом и Огом, а остальные побежали с криками и верещаньем по следу Мава — именно потому, что он скрывался.

На полдороге к лесу Ог и Рам разделились. Один бросился влево, другой взял правее. И двое преследователей тоже разделились, каждый избрав себе жертву.

Рам услышал приближающиеся шаги и поднял голову. Его удивило, что к нему торопилась молодая женщи-

на, или молодая самка. Она размахивала дубиной со вделанными в нее медвежьими клыками. Она была почти вся покрыта рыжеватой шерстью, и длинные космы никогда не чесанных волос свисали по обе стороны полувериного лица. Мускулистые руки были вдвое толще, чем у Рама.

Женщина вскинула дубину, рыча. Тоской заволокло Раму глаза, и все для него кончилось.

Огу Длиннорукому сначала повезло. Его преследовал не очень быстрый мужчина, и он почти добрался до леса, когда понял, что уже не может бежать. На глаза ему попала осыпь, обнаженная дождевым потоком. Ог схватил камень и, когда преследователь подошел ближе, метнул в него, попал в плечо. Но Бродячий даже не остановился — это было все равно что кидать камнями в носорога. Ог вступил в лес и тут решил, что все-таки он, Длиннорукий, самый сильный из людей стойбища. И что надо не просто так отдать свою жизнь.

Гигант навалился на него. Они сцепились и упали, ломая кустарник. Выводок кабанят брызнул из-под них в разные стороны. Огу удалось ударить врага по голове вторым захваченным в осыпи камнем. Бродячий ослабел, но только на миг. Желтыми зубами он грыз Огу плечо, добираясь до горла.

Могучий кабан-секач, сопровождавший в лесу свое семейство, услышал треск ветвей и увидел что-то большое, катающееся по земле. Страх и злоба тотчас вспыхнули в нем. Он ринулся на это большое, поддел его клыком. Большое распалось надвое. Секач опять ударил и одну и вторую половину и бил до тех пор, пока они не перестали рычать и шевелиться, превратившись в груды окровавленного мяса...

Мав Быстрый той порой сделал длинный бросок и

еще раз оторвался от орды гигантов. Но и у него уже начали деревенеть ноги, дыхание сделалось коротким. Во рту пересохло, ему хотелось пить.

Там, где степь начала понижаться, полого спускаясь к реке, он позволил себе маленький отдых, затем, приподнявшись, глянул назад и увидел, что орда Бродячих следует все-таки именно за ним. Это его не удивило. Он понимал, что у волосатых полулюдей человеческая хитрость соединяется со звериным нюхом и они могут идти по следу не сбиваясь, почти как идут волки.

Нарвав охапку мокрой травы вокруг себя, он пососал ее, освежив рот, вскочил и кинулся к реке. Он бежал и бежал, стараясь дышать равномерно, но в голове у него мутилось, кровь сильно стучала в виски, а грудь внутри жгло. Серая лента реки показалась наконец впереди, он в последний раз ускорил бег, вошел в густые прибрежные тростники, жадно напился, плеская себе воду в рот горстью, а потом побрел по колено в воде, часто меняя направление. Там, где заросль была особенно плотной, он присел на корточки и только тогда в полной мере ощутил, как смертельно утомлен. Он бежал почти полдня непрерывно. Собственное тело казалось ему пустым и высохшим. Только ум работал напряженно, слушали уши и глядели глаза.

Через какое-то время крики раздались поблизости, потом шаги зачавкали в болотистой почве. Трое Бродячих прошли совсем поблизости, потом остановились, переговариваясь короткими звуками. Они нюхали воздух, и Мав порадовался, что ветер идет от них, а не к ним. Появилась женщина с ребенком на спине, нагнулась и напилась, как животное, прямо ртом.

Затем кто-то заверещал впереди. Целой толпой гиганты побежали мимо Мава на другой берег. Они торопи-

лись теперь, не глядя по сторонам, как если б решили не искать его больше.

Он долго сидел в воде, не решаясь подняться, едва веря в свою победу. Когда говор орды затих вдали, он встал. Дыхание у него перехватило на мгновение, потом он поднял руку ко рту, чтоб подавить крик.

Уже вечерело. Далеко слева по берегу реки поднимались к небу три столбика дыма. Их было ясно видно. Туда-то и пошли охотники за людьми.

Мав чувствовал себя совсем разбитым. У него оставался теперь только один выход — перегнать по этому берегу толпу Бродячих и раньше их пересечь реку напротив стойбища.

Он выбрался на сухое место. Руки и ноги были странно легкими. Усталость и одеревенение вроде бы прошли, просто тело не желало слушаться его.

Шатаясь, он побежал.

Стойбище готовилось к ночи. Костры еще горели снаружи, но женщины носили внутрь пещер охапки хвороста. Мужчины, собравшись, рассуждали, отчего не вернулись люди из степи. Такое вообще случалось редко. Ночь принадлежала хищным зверям, а не человеку, ее следовало проводить у огня среди своих.

Дети, готовясь ко сну, расстилали подсушенную траву в темных гротах.

Девушка Ру сидела на камне рядом с молодым Яро. Тут же лежал и пустой березовый сук. Яро просверливал острым камнем дырочку в медвежьем зубе — это должно было стать женским ожерельем.

Старый Уц на холме беспокойно вглядывался в даль.

Трое ушедших утром охотников были молодыми и сильными. Их гибель сильно ослабила бы орду.

Туман поднимался над рекой. Кругом стоял запах жареной рыбы, отбивая все другое. С поляны, где горели костры, доносились говор, смех, восклицания.

Затем крик раздался со стороны плеса, и люди увидели, как из воды по пояс в тумане вышел человек.

Все насторожились.

Совсем голый, без оружия, он вышел на освещенное место, рухнул на колени, хватая ртом воздух, потом показал рукой:

— Бродячие! Близко!

Стон разнесся над стойбищем. Завыли, запричитали женщины, собирая детей. Мужчины хватали оружие — топоры, копья. Несколько человек бросились к большим камням, которыми на ночь заваливали изнутри входы в пещеры.

В орде было около сорока мужчин, но все понимали, что, будь врагов много меньше, все равно спасенья не было. Рядом с волосатыми гигантами даже самые сильные бойцы выглядели как дети. Но и бежать было тоже некуда, потому что Бродячие настигли бы людей стойбища и в лесу.

Несколько мгновений царила суeta на поляне, затем все убралось в две самые большие пещеры. Стало тихо. Только потрескивали брошенные костры.

И тогда появились Бродячие.

Первые тени мелькнули за пределами освещенного пространства и остановились. Постепенно людоеды накапливались в слитную толпу. Они уже устали, но не так, как Быстроногий. Представители племени Человека Сильного, они были выносливее и, кроме того, были в этом соревновании преследующими, а не убегающими.

Охотника Мава весь день угнетал страх, а им, наоборот, придавала сил жажда догнать и добыть.

Наконец вожак вышел на поляну — косматый, в два с половиной метра ростом, с плечами как скала. Тотчас по его зову подбежали, принюхиваясь, два следопыта, а затем все освещенное пространство заполнила радостно воющая толпа.

Из кустов вытащили обмершего от страха старика, который не успел скрыться. Ему свернули шею, бросили тело на костер. Ненасытные животы Бродячих уже требовали пищи, но, чувствуя, что добычи будет много, они хотели сначала убить всех.

Вожак осмотрелся, затем бросился к откосу горы. Камень, загородивший вход в ближайшую пещеру, был не очень велик. Наверху между его поверхностью и известняковым сводом оставалась широкая щель. Оттуда полетели копья. Однако осажденным негде было размахнуться как следует. Только одному охотнику удалось задеть руку гиганта.

Бой начался. Бродячие навалились на камень. Изнутри держали его, но силы были неравны. Огромная полу-женщина-полузверь выдернула сквозь щель одного из охотников стойбища, перехватила его обеими руками, не оборачиваясь, бросила назад. Он пролетел над толпой, упал на землю, и тут на него набросились дети.

Через минуту Бродячие ворвались в пещеру. Огонь погас внутри, его затоптали. В темноте раздавались рычание и стоны. Но вторая большая пещера еще держалась. Там Уцу сильным ударом топора удалось свалить одного из нападающих. Мощная туша заклинилась между камнем и стеной.

Бродячие пытались протолкнуть его вперед, но мертвый гигант не двигался с места. Схватка замерла на миг.

И вдруг исподволь и тихо сначала, а затем усиливаясь, раздался неподалеку тяжелый низкий звук. Грозный первый предупредительный рев — голос Пещерного Льва.

Владыка был тут, рядом. Совсем близко.

Все стихло, и в тишине лев пустил свой второй рык. Он низко потек по поляне, поднялся затем, оглушая, заполняя все, сотрясая деревья, и камни, и людей, не позволяя слышать собственное дыхание, обессиливая, нагоняя смертную тоску. Звук дошел до самой большой громкости и оборвался.

Он был уже ближе. И стало ясно, что Владыка двигается к пещерам.

Бой кончился. Бродячие с воплями бежали, бросая топоры, дубины — все, что у них было.

Только один гигант, которому копье пробило живот, бился, выгибаясь, на поляне.

Наутро остатки орды пустились в путь наверх. Нельзя было оставаться — Бродячие вернулись бы, чтоб уничтожить всех.

Уц вел своих людей в горы. Несли детей, запас пищи, оружие и шкуры. Инстинктивно старейшину стойбища влекло к югу, он не знал, что уходит от холодов наступающего ледника.

Люди двигались два дня, переночевали, сидя на короточках, как обезьяны, прижимаясь друг к другу и не разводя огня. На третье утро они достигли перевала и осмотрелись.

Было ветрено. Позади лежала обширная равнина, вся затянутая тучами. Дождь лил, контуры знакомых лесов и перелесков терялись во мгле. Но впереди над ними не-



бо сияло голубизной — казалось, они стоят на грани, разделяющей две погоды.

К югу мягко, округло спускались горы, лежали луга и поросшие кустарником долины. Солнечные лучи осветили людей. Они стояли молча, им сразу сделалось теплее. Дождь шел почти что рядом, но они уже вышли из-под него.

Уц дал сигнал, и они начали спускаться.

Ру шла рядом с прихрамывающим Яро. Он нес с собой все тот же березовый сук. Мав Быстроногий — он остался в живых — потрогал пальцем трубу.

— Это первый раз так, что человек Яро заговорил, как лев.

Позади орды, над потонувшей в дожде степью началась гроза. Молнии косо пересекали многослойные тучи, гремел гром.

В мир входило нечто новое, способное совершенствоваться бесконечно, — разум. Началась история Человека.



ступая перед превосходящими силами дивизий Лееба. Мы шагали беззаботно и даже автоматы закинули за спину. И вдруг я почувствовал, что в нас сейчас будут стрелять. Вот сию минуту. Это была необъяснимая и в то же время такая сильная уверенность, что с криком «Ложись!» я прыгнул на своего напарника, ничего не ожидавшего, сбил его с ног и с ним вместе упал на асфальт. Сразу же над нами в серой темноте бесшумными красными искорками из придорожных кустов пробежала цепочка трассирующих пуль, а через миг как бы отдельно ударил звук автоматной очереди. Конечно, мы тотчас открыли пальбу по этим кустам, а потом бросились туда, но там, естественно, уже никого не нашли.

Вот что это было такое, что сказало мне, будто в нас кто-то целится? Откуда возникла во мне эта уверенность, когда мы шли по совсем спокойному месту? Но она действительно возникла, потому что, не кинься мы тогда на асфальт, обоих перерезало бы через пояс, утром нас нашли бы на дороге задубевших, с серыми лицами, и после прощального жиденького винтовочного залпа ребята из соседней 7-й морской бригады, нахмурившись и молча, закидали бы нас землей в братской могиле. И я не мог бы сейчас ничего вспоминать.

Или, скажем, другой случай. В сорок втором году под Калачом, когда против нас стояла 8-я итальянская армия...

Хотя нет. Не надо! Не будем отвлекаться и перейдем к тому, что произошло с Колей Званцовым, к той истории, которую он рассказывал нам в Ленинграде зимой сорок третьего года в здравбатальоне на Загородном проспекте, в большом сером здании напротив Витебского вокзала. (Теперь это здание стоит не только напротив Витебского вокзала, но и напротив нового ТЮЗа, нового

Театра юных зрителей, построенного взамен того, что был на Моховой) Мы находились тогда в здравбатальоне, куда человек, как известно, попадает из госпиталя, когда, собственно, госпитальное обслуживание ему уже не нужно, но какая-нибудь рана не совсем затянулась, требует перевязок, и сам он не вполне готов нести воинскую службу. Днем, кто не был освобожден, занимался боевой подготовкой — изучением оружия и строевой. А вечером, лежа на деревянных топчанах, мы рассказывали друг другу, кто что знал, видел и слышал. О том, как пригород Ленинграда Урицк шесть раз в рукопашном бою переходил из рук в руки, о Невской Дубровке, о переправах на Волге, о боях под Моздоком, обо всяком таком. Почему-то мы все толковали о войне. Возможно, оттого, что сами были тогда в тылу. Это уже замечено: во время войны на передовой бойцы редко говорили о боях, а больше о прошлой, довоенной жизни, если выдавалась тихая минута. А в госпиталях и на отдыхе всегда вспоминали передовую.

Такими вечерами Николай Званцов и рассказал нам, что с ним произошло однажды. Впрочем, даже не «с ним», а скорее «через него». Какая-то странная сила, новая, неизвестная нам способность организма проявилась через него, сделала, так сказать, свое дело и ушла.

Это было в мае сорок второго года, во время нашего наступления на Харьков с Изюмского выступа. Операция, как известно, оказалась неподготовленной. Из района Славянска немцы перешли в контрнаступление, ряд дивизий наших 6-й, 9-й и 57-й армий попали в окружение и с боями стали пробиваться назад, за Северный Донец.

Званцов служил в пулеметно-артиллерийском батальоне, и в конце мая их рота две недели держала оборону

возле одной деревушки, название которой он забыл. Обстановка сложилась тревожная. На участке роты было тихо, но впереди происходили какие-то крупные передвижения. Орудийная канонада доносилась уже с флангов, было известно, что соседний полк разбит и отступил. Назревала опасность захода противника в тыл, ждали приказов из дивизии, но связь была прервана.

Местность кругом обезлюдела, и сама деревня, в которой они заняли оборону, уже не существовала как населенный пункт. Сначала ей досталось, еще когда немцы в сорок первом взяли Харьков и в этом краю шли крупные бои. А случайно уцелевшие тогда дома окончательно дожгли эсэсовцы из 4-й танковой армии, отступившие во время нашего недавнего прорыва к Мерефе и Чугуеву.

Так что деревня представляла собой лишь пожарища и развалины, там и здесь начинавшие зарастать кустарником. Был один-единственный кирпичный полуразрушенный дом, где разместился КП роты и где в подвале ютились двое оставшихся в живых и не эвакуировавшихся жителей — старик лет шестидесяти пяти и его глухонемая дочка. Старик делился с бойцами картошкой, которой у него в подвале был насыпан немалый запас. Он был еще довольно крепкий, вместе с дочкой рыл с солдатами окопы и помогал копать позиции для орудий.

Вот тогда-то, в той деревне, с Николаем и начались странности в виде его удивительных снов. Впрочем, вернее, не совсем так, поскольку это в самый первый раз проявило себя, когда однажды утром командир роты послал Званцова в разведку.

Николай и еще один боец, Абрамов, пошли, чтобы уточнить, где, собственно, находится противник. Они прошагали около пяти километров, не обнаружив ни своих, ни чужих, а потом за небольшим лесочком, лежа на вы-

сотке, слышали шум приближающихся танков. Машины показались из-за рощицы. Званцов узнал наш быстроходный Т-70 и с ним две тридцатьчетверки. Это мог быть взвод танковой разведки, и Николай решил подождать, пока танки подойдут поближе, затем остановить их и выяснить общую обстановку.

Они с Абрамовым лежали и ждали, и вдруг Званцов почувствовал, что не одни они наблюдают за танками, что еще и другие внимательные глаза — и не одна пара глаз, а множество — следят за приближающимися машинами и рассчитывают расстояние до них. Это чувство просто как ударило его в голову, он обернулся и, пошарив взглядом по местности, показал Абрамову на другой лесок метрах в двухстах от них. Они стали туда вглядываться и оба сразу увидели, как из-за кустов едва заметно приподнялся ствол «змеи» — противотанковой немецкой пушки, которую на фронте так называли за длинный тонкий ствол и маленькую головку дульного тормоза.

И сразу грянул первый точный выстрел, просверливая воздух, полетел снаряд. Головной Т-70 вздрогнул, башня покосилась, танк дохнул огромным клубом черного дыма, и Николай Званцов почти физически ощутил, как там, внутри, в миг взрыва боеприпасов в дикой ярости высоких температур разом испепелились три тела, разом оборвались мысли, страхи, храбрости, планы и три русских парня перестали быть.

Званцов с Абрамовым вскочили и закричали, как будто этим криком могли чем-нибудь помочь танкистам, но потом опомнились и легли, чтобы не обнаружить себя.

Бой между тем разгорался. Противотанковая батарея, сделавшая засаду в леске, открыла беглый огонь по двум оставшимся танкам. Тридцатьчетверки, отстреливаясь, стали разворачиваться.

И тут Николай опять почувствовал, что еще новая группа людей сверху видит и их двоих, и батарею, и танки. Он дернул Абрамова за руку, они скатились с высоты в канаву. И вовремя, потому что над ними плыл на небольшой высоте «юнкерс-88», и по песчаному гребню канавки сразу легла строчка ямочек со стеклянными капельками внутри, которые образуются, когда в песок попадают на большой скорости пули из крупнокалиберного пулемета.

И тут же, вот в этот самый миг, Званцов непонятным и непостижимым образом ощутил всю картину боя. Он ощутил ее как огромный пространственный многоугольник с движущимся верхним углом — ревущим самолетом, с углами на поверхности земли — противотанковой батареей немцев, где щелкали и перекачивались на лафетах стволы орудий, железно рокочущими танками, уходящими от обстрела, им самим с Абрамовым и последним углом — нашей танковой группой из десятка машин, которые молча прятались в дальнем редком леске, но были уже обнаружены с «юнкерса». (Он твердо знал, что танки там есть, хотя и не мог понять, почему, как и чем он это чувствует.)

Углы гигантского, перемещающегося над землей и по земле многоугольника были связаны отношениями, и именно отношения каким-то образом давали Званцову возможность ощущать себя. Артиллеристы фашистской батареи хотели расстрелять тридцатьчетверки, танкисты рвались уйти из-под огня, командир «юнкерса» видел танки в дальнем лесу и намеревался бомбить их, а его пулеметчик жалел, что не попал в две маленькие фигурки на опушке леса, которые были Званцовым и Абрамовым. Все эти стремления, намерения и сожжения проходили через сознание Званцова и все происходящее скреп-

ляли для него в одно. Как будто он получил еще новое, добавочное внутреннее зрение.

И не только это.

Он знал, что происходит, на какой-то миг был способен и предвидеть, что будет происходить.

Он знал наперед, что два танка повернут не в сторону рощицы, откуда вышли, а двинутся открытым местом на дальний лес. И действительно, едва Званцов почувствовал это, передний танк стал отворачивать от деревьев.

Званцов знал, что «юнкерс» не будет теперь охотиться за двумя танками, а пойдет на лес, и, как бы слушаясь его, самолет взял правее и двумя секундами позже повернулся через крыло и стал падать в пике там, вдали.

Он знал, что батарея сейчас начнет огонь рубежами, и прежде чем успел осмыслить это свое знание до конца, «змеи» прекратили прямой огонь по танкам и начали пристрелочные выстрелы впереди.

Какие-то несколько мгновений Званцов понимал все за всех. Он видел такое, чего нельзя увидеть зрением, читал все мысли в пространстве на несколько километров и чувствовал не только настоящее, но и ближайшее будущее.

Потом это кончилось, и он снова стал самим собой.

Танки скрылись за холмом, батарея замолкла. Разведчики по-пластунски добрались до леска и пошли в часть доложить обстановку.

И целый день потом Званцов размышлял об этом удивительном многоугольнике и о том, каким же образом он мог видеть и чувствовать то, что недоступно ни глазу, ни чувству.

А после начались сны.



Первый он увидел в тот же вечер, когда лег на полу в доме, где помещался их ротный КП.

Причем сон был очень сильный, отчетливый и явственный.

Званцову приснилось, будто он находится в большом красивом саду. Даже не в саду, а в парке наподобие Гатчинского парка под Ленинградом, с большими, столетними деревьями, дорожками, посыпанными песком, и пышными клумбами. Сбоку, за поляной, был виден двухэтажный дворец. чистый и хорошо отремонтированный, а прямо перед ним, перед Званцовым, стоял маленький домик без окон. Даже не домик, а какой-то облицованный мрамором куб с дверкой в нем. Этот домик, или куб, был обнесен чугунной узорчатой невысокой решеткой.

Начав видеть сон — а он понимал, что тут именно сновидение, а не явь, — Званцов каким-то краем сознания подумал, что ему повезло с этим сном, и обрадовался, что хотя бы во сне отдохнет немного в таком прекрасном саду. А отдохнуть ему хотелось, поскольку он был на фронте уже почти одиннадцать месяцев, отступая в боях от самой границы, и даже на переформировках нигде не задерживался больше чем на неделю.

Но очень скоро в ходе сна он понял, что тут будет не до отдыха, поскольку все разворачивалось не так, как ему хотелось бы.

Он, Званцов, стоял, широко расставив ноги. Вдали послышался рокот мотора, в парк въехал большой открытый грузовик с молочными блестящими бидонами. Грузовик остановился. Два человека, приехавших с ним, отослали шофера прочь и подождали, пока он уйдет. Потом они открыли борт и поспешно стали сгружать тяжелые, наполненные бидоны.

В руке у Званцова оказалась связка ключей. Он от

крыл калитку в чугунной ограде, затем дверь в домик. Внутри была небольшая комната без окон, а в полу — люк, куда вела широкая винтовая лестница. Званцов, а за ним люди с тяжелыми бидонами спустились вниз, в новое помещение. Здесь на невысоких постаментах стояло пять или шесть дубовых гробов.

Дальше пошло уже совсем необъяснимое. Званцов и люди, которыми он, по-видимому, руководил, стали снимать крышки с гробов, оказавшихся пустыми. Молочные бидоны все были снесены вниз. Один из мужчин открыл первый бидон, и Званцов увидел, что в бидоне никакого не молоко, а разобранные на части автоматы с дисками.

Это до того удивило Званцова, что он проснулся. Он проснулся и увидел, что в двух шагах от него, тут же в КП, на полу сидит незнакомый ему человек в большой фуражке и глядит на него широко раскрытыми светлыми и даже какими-то жадными глазами.

Миг или два они смотрели друг на друга, затем человек в фуражке погасил глаза и отвернулся. Званцов был озадачен появлением незнакомца на КП роты. Но в остальном в комнате все было в порядке. Мрачный лейтенант Петрищев, командир роты, сидел, как обычно, за столом, склонившись над картой, освещенной горящим куском немецкого телефонного провода. Разведчик Абрамов спал на единственной постели, лежа на спине, раскинув руки и раскрыв рот. И все другие на КП тоже спали, а в окне было видно звездное небо и чернела фигура часового, опершегося на винтовку.

Званцов повернулся на другой бок, закрыл глаза, и тотчас включилось продолжение сна. Но как бы после перерыва. Теперь он находился уже во дворце. Это можно было понять по тому, что он стоял в комнате, а через окно был виден тот же сад с аллеями и клумбами. Рядом

со Званцовым был седой господин в зеленом пиджаке, брюках гольф и высоких зашнурованных ботинках (во сне Званцов определил для себя этого человека именно как «господина», а не «гражданина»). Званцов и господин разговаривали на каком-то иностранном языке, причем Николай в качестве, так сказать, персонажа этого сна знал язык, а в качестве действительно существующего бойца Званцова, в тот момент спящего и сознающего, что спит, не понимал ни единого слова.

Они разговаривали довольно бурно и жестикулировали оба. Седой господин повернулся к двери, что-то крикнул. Тотчас она отворилась, двое мужчин ввели третьего, оказавшегося тем шофером, который в начальном сне привел грузовик в сад. Но теперь он был похудевший, с затравленным лицом и разорванной губой. Седой господин и Званцов — опять-таки в качестве героя этого странного сна — набросились на шофера и принялись его избивать. Сначала тот не защищался, а только прятал голову. Но вдруг в руке у него мелькнул нож, он бросился вперед и ударил Званцова в лицо. Нож скользнул по подбородку и задел шею. Тогда другие сбили шофера с ног, а Званцов, зажимая рукой шею, отошел в сторону, вынул из кармана зеркальце и заглянул в него.

Он заглянул в зеркальце и увидел там чужое, не свое лицо. Дико было. Сон снился Званцову. Званцов был субъектом этого сна, действовал в нем и сознавал свое «я». Но когда он посмотрел в зеркальце, там было не его, а чужое лицо...

Тут Званцов почувствовал, что его трясут, и проснулся.

Была его очередь заступать на пост у КП. Он встал совсем не отдохнувший, взял свой полуавтомат, пошатываясь, вышел на улицу и стал на пост, с сожалением от-

мечая, как предутренний ветерок выдувает у него из-под гимнастерки застрявшие там кусочки тепла.

Он оглядел деревню, над которой уже занимался рассвет, и вдруг понял, что где-то уже видел то лицо, которое во сне глянуло на него из зеркала. Он видел его сравнительно недавно: то ли месяц назад, то ли неделю, то ли день. Но в то же время, как это часто бывает со снами, теперь он совершенно не мог вспомнить, какое же оно было.

Новые сутки прошли в роте напряженно. Удалось ненадолго связаться со штабом дивизии. Оттуда пришел приказ держать деревню насмерть, чтобы обеспечить отступление других крупных частей. Но противник не показывался, и даже та батарея, которую засекли разведчики, куда-то убралась.

И вместе с тем уже с той ночи, когда Званцову приснился первый сон, через расположение роты стали поодиночке проходить солдаты пехотной дивизии, которая первой приняла на себя танковый таран немцев под Мерейфой, не отступила ни на шаг и была почти полностью уничтожена вместе с командиром и штабом. Раненых мрачный лейтенант Петрищев направлял дальше в батальон, а здоровых задерживал и оставлял на укрепление своей обороны.

Тогда же ночью, как потом узнал Званцов, в расположение роты приблудился и незнакомец в фуражке. Это был своеобразный парень, уполномоченный Особого отдела дивизии. Их отдел еще в самом начале мая на марше наткнулся на засаду танкового дивизиона эсэсовцев и потерял три четверти сотрудников. Удубченко, так называл себя незнакомец, состоял тогда в ординарцах у начальника отдела и после этой катастрофы, по его словам, был сразу произведен в уполномоченные. Еще через

три дня дивизия была разрезана на части, отдел попал под жестокую бомбежку, и в живых остался только он один. Он взял с собой уцелевшее имущество отдела — огромную и очень неудобную пишущую машинку «ундервуд» и единственную несгоревшую папку с делами — и с этим стал пробиваться на восток к своим.

До выяснения личности Петрищев оставил его при КП. Удубченко, очевидно, очень хотелось быть особистом, а не переходить в рядовые бойцы. Ни днем, ни ночью он не расставался со своей папкой. Солдаты в роте посмеивались над ним и спрашивали, стал бы он машинкой «ундервуд» отстреливаться от немцев, если бы пришлось. На это он ответил, что у него есть пистолет ТТ, и показал его.

К Званцову Удубченко относился с каким-то повышенным интересом. Николай заметил, что тот все время старается остаться наедине с ним, и, когда они работали на окопах, несколько раз ловил на себе его пристальный, жадный взгляд.

Следующие два дня в роте было спокойнее. Командиры взводов с бойцами отрывали запасные окопы и ходы сообщения, уточняли секторы обстрела для пулеметов. Противник же как будто решил оставить батальон в покое. Грохот артиллерии переместился к востоку. Только очень часто, и днем и ночью, над позициями батальона пролетали немецкие транспортные самолеты Ю-54, держа курс на Изюм.

И опять Званцову начали сниться сны.

Однажды ему приснилось, будто он идет подсолнуховым заросшим полем, постепенно повышающимся. Стоит ночь, и темно. Но он идет уверенно и выходит к опушке леса. У самой опушки над полуобвалившимся старым окопом, накренившись, нависает обгоревший

советский двухбашенный учебный танк — ветеран боев сорок первого года. Броня у него раздута изнутри, очевидно, от взрыва боеприпасов. И по раздутому месту белой краской коряво и безграмотно чьей-то рукой намалевано по-русски: «Броня крепка, и танки наши быстры». Званцов знает эту надпись, но не возмущается, а только улыбается про себя. Но отсюда, от танка, он перестает идти свободно, а пригибается и кошачьим легким скоком начинает перебегать от дерева к дереву. Так он двигается около полукилометра, затем ложится на траву и ползет по-пластунски. Перед ним, освещенная лунным светом, показывается поляна. Званцов видит силуэты каких-то больших машин с крытым верхом и людей в черных шинелях, которые стоят и ходят возле этих машин. Званцов долго наблюдает, затем удовлетворенно кивает чему-то и ползком пускается в обратный путь...

На этом месте сон прервался. Некоторое время мелькали разрозненные кадры старого сна — в саду. Потом снова пошла целая большая часть без перерывов.

Теперь Званцов опять-таки ночью стоял на большой пустынной поляне среди леса и чего-то ждал, напряженно глядя вверх, на небо. Наконец издалека послышался звук самолета. Званцов вынул из кармана фонарик, посигналил несколько раз. Невидимый самолет наверху приблизился, потом стал уходить. Званцова это не беспокоило. Он лег на траву и принялся ждать.

Через некоторое время на большой высоте в небе, но уже не сопровождаемый звуком моторов, вспыхнул огонек. Званцов тотчас вынул из кармана второй фонарик и посигналил двумя. Огонек стал стремительно падать, затем погас. Но на фоне светлеющего неба была уже видна темная птица, несущаяся к земле. Это был

планер. На высоте метров в двести он вышел из пике, черной тенью скользнул над лесом, приземлился, пахивая выпущенными шасси траву на поляне, пробежал шагов полсотни и остановился неподалеку от Званцова.

Тотчас брюхо его раскрылось, десяток темных фигур высыпались наружу. Званцов вскочил, поднял руку, и, подчиняясь его команде, десантники поспешно и бесшумно пустились за ним в лес. Они вышли к обгоревшему танку с безграмотной, издевательской надписью, сделанной немецкой рукой, и оттуда двинулись очень осторожно. Впереди почувствовалась поляна. Званцов разделил свой отряд на три группы. За деревом была видна фигура часового в черной шинели. Званцов вынул нож из ножен, легко, как это бывает во сне, шагнул к часовому, со спины зажал ему одной рукой рот, а другой погрузил нож в горло. Тотчас сзади него раздался свист, пришедшие с ним люди бросились вперед, к машинам с крытым верхом, которые стояли на поляне.

Солдаты в черных шинелях кинулись им навстречу, завязался короткий горячий бой. Одна из машин неожиданно вспыхнула багровым пламенем и взорвалась, разметав в стороны несколько фигур. Но Званцов с пистолетом в руке уже пробивался к другой. Там метался человек, лихорадочно чиркая по борту какой-то коробочкой. Второй, в кабине, пытался завести мотор. Званцов выстрелом снял первого, затем второго, бросился в кабину и, даже не задерживаясь, чтобы вытолкнуть убитого прочь, нажал стартер, дал полный газ, слыша, как сзади взрывается третья машина, вписался в мощную короткую дугу поворота и вырвался с поляны.

Уже рассвело. Лесная дорога с мелкими, поросшими травой колеями неслась ему навстречу. Бросая машину из стороны в сторону, на полную окружность поворачи-

вая баранку, он мчался к цели, которую знал. Группа каких-то людей пыталась преградить ему путь, но они лишь брызнули, спасаясь из-под колес, и только радужными звездочками от пуль расцветилось стекло кабины.

Потом лес сдернулся назад, светло вспыхнул полевой простор. Впереди, пониже, шел бой. Маленькие, издалека как игрушечные, разворачивались танки, батарея стреляла по ним, перебегали ломкой цепочкой солдаты.

Слившись с машиной, Званцов низвергался с холма дорогой извилистой, как след от удара кнута, которая вела его в самый центр боя. Рядом с ним убитый колотился головой о подушку сиденья, и Званцов все не мог, не мог, не имел ни секунды, чтобы открыть дверцу и выкинуть его.

Бой приблизился, уже звучно строчили пулеметные очереди. Набежала линия окопов, бойцы с удивленными лицами вскакивали, поднимали руки, стараясь остановить его. Он пролетел мимо них, пролетел через минное поле — рядом взорвалась мина, но он уже был далеко, — проскочил цепочку атакующих. Опять мчащаяся грунтовая дорога напряженными дугами легла ему под колеса. Казалось, не он поворачивает машину, а вертится сама земля — мелькающие куски горизонта, вытянувшиеся в линейку кустарники, зеленые холмики перелесков, — вертится, чтобы пустить ему под радиатор две колеи и спрямить его молниеносный путь.

Наконец новый лес набежал на него тенью и прохладой. Ветки зашелестели по кабине. Званцов стал убирать газ, повернул на лесной проселок, пронесся к небольшому домику, затормозил и стал.

Несколько человек в штатском бросилось ему навстречу. У него от пережитой скорости еще качались



в глазах деревья и плыла поляна с домиком, но он уже выскочил из кабины и вместе со штатскими стал сдирать с машины брезентовый верх. Под ним была большая рама с продольными металлическими желобами.

Спеша подъехали еще три грузовика, набежали еще люди. Молча, не теряя секунд на слова, Званцов со штатскими лихорадочно закидали ветвями машину, которую он привел, и на руках откатали ее в лес, в самую гущу, под деревья. Брезентовый верх был натянут на другой грузовик, откуда-то тащили еще такой же брезент и деревянные стойки. Появились три солдата в зеленых мундирах. Они сели в три новые машины и один за другим, поднимая пыль, покатали прочь от домика.

И тотчас Званцов другим, не этим зрением увидел, как там, за линией фронта, которую он только что проскочил, на аэродромах, поднятые по тревоге, бегут к самолетам маленькие фигурки, услышал, как раздается команда: «От винта!», как, взревев, начинают петь моторы.

Через миг он был уже не только Званцовым, но и летчиком в самолете. Земля провалилась, провисла под ним огромной вогнутой чашей, на уровень глаз стал убежавший в бесконечную даль горизонт. А он, летчик, пытливо всматривался вниз, прикусив губу, искал что-то среди макетных домиков деревень, выпуклых ковриков перелесков и рощ, среди узеньких, посыпанных светлым дорожек. Потом внизу на лесной дороге он увидел медленно торопящегося жука-машину с крытым верхом. Это было то, что нужно. С радостным приливом в сердце он пошел в пике, приготовляясь отпустить тяжелый бомбовый груз.

И так, поочередно, Званцов был тремя летчиками и, будучи ими, один за другим уничтожил три грузови-

ка с крытым верхом, которые были отправлены с той поляны в лесу. Но одновременно он был и прежним Званцовым, оставшимся с самой первой, главной и значимой машиной, спрятанной глубоко в лесу. С той машиной, в кузове которой он сидел и где в кабине, так и не убранный еще, лежал убитый шофер...

Потом этот сон снился Званцову целых три ночи подряд и замучил его. Стоило ему закрыть глаза, как сразу начинался ночной бой с людьми в черных шинелях на поляне, или дорога мчалась под радиатор грузовика, или он поднимался на самолете, преследуя не ту, другую, ложную машину.

На четвертую ночь явилась как бы шапка, заключительная часть этих снов.

Он лег вечером на КП, снял сапоги, примостил под плечо шинель и сунул голову в шлем. (Вообще-то он шлем не любил и так не носил его, но для спанья пользовался охотно, поскольку мягкий внутренний каркас шлема по удобности почти равен подушке.) Он закрыл глаза, и в тот же миг ему стал сниться сон.

Званцов ехал по железной дороге. Стучали колеса, внизу сыпались и сыпались шпалы, а он знал, что везет и уже благополучно довозит что-то чрезвычайно ценное. Поезд остановился на чужой, незнакомой станции. В сизого цвета форме с фашистским знаком на рукаве двое рабочих возились рядом у стрелки. Чужие солдаты в комбинезонах вольно стояли на перроне. К Званцову бежал начальник станции с белым жезлом в руке, потный, с выражением почтительности и страха на лице. А он, Званцов, ждал его объяснений холодно, презрительно и властно...

Затем станция исчезла, он находился в большом зале с террасой с правой стороны. Впереди никого не было.

Но сзади, Званцов это знал, плотной молчащей толпой стояло множество народу, почти все в мундирах: маршалы, генералы и полковники фашистской армии. В зале было тихо, но в какой-то момент сделалась уже совершенно гробовая тишина. Широкая белая дверь впереди отворилась, послышались быстрые шаги, и в зал вошел... Гитлер, Гитлер с усиками и челкой, одетый в серый френч и бриджи. Гитлер шел навстречу Званцову, сзади замерла толпа военных. А Званцов напрягся, готовясь резким пружинным движением выбросить вперед руку в фашистском приветствии и чувствуя, как от этой напряженности еще плотнее облегает его плечи по мерке сшитый офицерский френч.

Гитлер остановился, его костистое лицо было бледно. С минуту он смотрел на Званцова бешеным и в то же время нежным взглядом. Потом глаза его зыркнули куда-то назад, за званцовскую спину. Оттуда вышли два фанфариста, стали рядом со Званцовым справа и слева, набрали воздуху в легкие, задрали головы, и... резкий крик петуха огласил зал.

Петушиное кукареканье и разбудило Званцова.

Это был единственный сохранившийся в деревне петух, который чудом сумел пережить и немецкое наступление сорок первого года и проход эсэсовских частей в сорок втором.

Петух разбудил Званцова, и он проснулся совершенно ошарашенный.

Что это могло быть и почему ему виделись такие картины?

Он понимал, что эти сны снятся ему неправильно. что здесь чужие сны, которые не могут сниться ему, советскому солдату Званцову, и просто по ошибке попадают в его голову,

Но чьи же тогда эти сны?

Сидя в комнате на полу, он огляделся. Вернувшись с обхода боевого охранения, спал мрачный лейтенант Петрищев, командир роты. (Он был почти всегда мрачен, потому что в Бресте у него остались жена и две совсем маленькие девочки, и он ничего не слышал о них с самого начала войны.) Но лейтенанта Петрищева Званцов знал хорошо, вместе служил с лейтенантом под Брестом и был в нем уверен, как в самом себе.

Рядом со Званцовым храпел Вася Абрамов, напарник Николая по разведке. Абрамов попал в их часть недавно, после госпиталя. По его рассказам Званцов знал всю его биографию и понимал, что биография эта была как раз такой, какая ему рассказывалась. До войны Абрамов служил действительную в Особом железнодорожном батальоне Краснознаменного Балтийского флота в Ленинграде. Это была интересная воинская часть, единственная, возможно, на всех флотах мира. Под Ленинградом есть форты Красная Горка и Серая Лошадь, которые связываются с Большой Ижорой специальной железнодорожной веткой. Для обслуживания ветки, по которой на форты подвозятся вооружение, боеприпасы и всякое другое, и был в свое время создан Особый железнодорожный батальон. Служили в нем железнодорожники и исполняли железнодорожные обязанности. Но вместе с тем они носили флотскую форму и принадлежали к КБФ. Служа в этом батальоне, Абрамов по выходным часто наезжал в Ленинград, хорошо знал его, и Званцов, сам ленинградец, имел все возможности точно проверить это знание. (Абрамов даже бывал в той новой бане на улице Чайковского, которую Званцов как раз строил перед войной, будучи бригадиром каменщиков.) Да и вообще они были друзья, вместе

ходили в разведку, и не один раз жизнь одного зависела от совести и смелости другого.

Еще один человек спал на КП. Связист Зорин. Но он был совсем молодой паренек двадцать третьего года рождения и весь на виду, с молодым пушком, еще не сошедшим со щек, с приходившими в часть письмами, где деревенская родня передавала ему многочисленные поклоны.

Никому из этих троих не могли предназначаться сны, которые по ошибке попали к Званцову.

Раздумывая обо всем этом, Николай вдруг почувствовал, что на него сзади кто-то смотрит. Он обернулся и увидел, что особист Удубченко сидит у стены и глядит на него светлыми глазами.

Потом он поднялся, подошел к Званцову и неожиданно спросил тихим голосом:

— А ты немецкий знаешь?

— Нет, — сказал Званцов.

— А польский?

— Тоже нет.

Званцов действительно не знал никаких иностранных языков. Вернее, он учил когда-то в школе немецкий, но от всего этого обучения у него в голове осталось только «Их хабе, ду хаст...» и еще немецкое слово «печка» — «офт», относительно которого он не был даже уверен, что это именно «печка» и которое могло быть немецким словом «часто».

Удубченко миг смотрел на Званцова с каким-то ожиданием, потом сказал: «Ладно», — и вышел из КП.

Все это было подозрительно. Это даже могло звучать как пароль: «Знаешь ли ты немецкий язык?» — «Нет». — «А польский?»

Но в то же время Званцов понимал, что не может сейчас ничего сделать.

Терзаясь сомнениями, Званцов свернул козью ножку, высек кресалом огонь, прикурил от фитилька, отчего верхний слой махорки стал распухать, затрещал и запрыгал в стороны маленькими искорками, накинул на плечи шинель и вышел на улицу.

Дурацкий и подлый сон! Чтобы он, Званцов, вытягивался перед собакой Гитлером! Да он бы разорвал его пополам, доведись оказаться рядом, и оба куска этой твари затоптал бы в землю. В землю своими кирзовыми сапогами, а потом бы еще пошел и потребовал у ротного старшины, чтобы тот выдал другие сапоги, а те, первые, сам выкинул бы.

— ...! ... ..!!!

Званцов затыкнулся козьею ножкой, помотал головой, вытряхивая сон, и огляделся.

Стояла душистая, бархатная, мягкая украинская ночь. Пахло яблоневым цветом и жасмином. Но деревня, залитая синеватым фосфоресцирующим светом луны, была уродлива и безобразна. Дико и заброшенно торчали трубы сожженных домов, тишина казалась кладбищенской, и повсюду — в темных местах развалин, в овраге за садом, в дальнем леске за полем — пританлись угрозы.

Обстановка на фронте была скользкая, и Званцов знал, что за леском уже может накапливаться фашистская пехота, что вражеский лазутчик, возможно, смотрит на него в этот миг из-за полусгнившей прошлогодней скирды на поле.

А главное, было неясно, в какой стороне противник, в какой свои и куда роте нужно повернуться лицом, чтобы ей не ударили в спину.

От этих мыслей Званцову сделалось неуютно и холодно. Он опасливо переложил сигарку так, чтобы огонек был в закрытой ладони.

В дальнем краю сада между яблонями мелькнуло какое-то серое движение. Званцов вздрогнул, напрягся, вглядываясь туда. Движение повторилось. Он, стараясь не наступать на сучки и пригнувшись, пошел вперед и увидел глухонемую девушку, дочь старика.

Она, одетая в серое холщовое домотканое платье, босая, короткими и сильными, но в то же время какими-то неуклюжими рывками рыла землю лопатой. Рядом валялся большой, грубо сколоченный ящик, а на нем — мешок с зерном.

Почувствовав присутствие Званцова, немая испуганно обернулась и отскочила в сторону.

Званцов посмотрел на яму, ящик и мешок. Он понял, что старик с дочерью не верят, что рота будет удерживать деревню от немцев, и заранее закапывают хлеб, чтобы его не отобрали фашистские мародеры. От этих мыслей ему стало горько и совестно перед ней.

Он жестом попросил у нее лопату, поплевал на ладони и в рыхлой, податливой садовой земле быстро выкопал яму. Вдвоем они уложили туда ящик с мешком внутри, закидали все и утоптали.

Званцову захотелось пить. Он сначала спросил у девушки воды, потом сообразил, что она не слышит, и стал знаками объяснять, чего он хочет.

Она тупо смотрела на него, не понимая. Потом поманила за собой. Они подошли к дому. Немая нагнулась к окошку в подвал, замычала. Внизу зажегся огонек копилки, по лесенке поднялся старик. Пока он поднимался, луна освещала его лысину, обросшую по краям длинными нечесаными волосами.

Узнав, что Званцов хочет пить, старик сказал, что угостит его чаем с медом, и позвал вниз к себе. Званцов стал отказываться. Хотя ему очень хотелось чаю с медом, он понимал в то же время, что этот мед, картошка да хлеб, закопанный в саду у яблони, станут, возможно, единственной пищей этих двоих на долгие месяцы вперед.

Пока они разговаривали, за изгородью опять мелькнул особист, и старик, неодобрительно глядя на него, сказал:

— Вот все ходит-ходит. А чего надо?

Потом старик все же уговорил Званцова на чай, сам полез в подвал вперед. Лестница, приставленная изнутри к окну, была узкая и шаткая. Немая подала Званцову руку, чтобы он не упал в темноте. Ладонь у нее была мясистая и от этой мясистости неприятная. Руку она сначала подала по-деревенски лодочкой, но потом Званцов почувствовал, что пальцы ее крепко и доверчиво обхватили его ладонь. От этой маленькой ласки у него потеплело на сердце, он вспомнил жену с сынишкой в Ленинграде, от которых почти год не было известий, и в темноте у него увлажнились глаза.

Подвал был большой, и в одном углу от пола до потолка завален картошкой, которая начала прорастать бледными ростками. Пахло кислым. Стояли скамьи с тряпьем — постели старика и дочери, стол, какие-то ящики. На сырой кирпичной стене на ржавом костыле висело небольшое с молочным налетом зеркало в деревянной рамке.

Старик прибавил свету, вытащив фитиль в коптилке, развел самовар, в котором вода была уже подогрета. Они стали пить липовый чай с медом. Разговор не клеился, старик был немногословным. Оказалось, что он



учитель, и Званцов заметил, что у него действительно руки человека не деревенской, а городской, интеллигентной работы.

Немая смотрела в лицо Званцову и все время улыбалась, но какой-то бессмысленной улыбкой. Старик сказал, что она всю жизнь прожила здесь, в соседней деревне, не знает языка глухонемых и неграмотна. Из-за ее уродства и из-за того, что они только что вместе закопали хлеб в землю и оба понимали, что это значит, Званцову все время было очень совестно перед ней и ее отцом. Ему не сиделось в подвале.

Наверху, над бревенчатым потолком, слышались шаги — подвал находился как раз под комнатой, где расположился ротный КП. Званцов сказал, что это пришел командир роты, которому он может понадобится, поблагодарил за чай и выбрался на улицу...

Этой же ночью грохот артиллерийской канонады раздался совсем в тылу званцовского батальона, а наутро пришел приказ из дивизии держать позиции в течение трех суток, после чего батальон должен идти на соединение с дивизией на восток.

Но немцы так и не показывались в окрестностях деревни. Мрачный лейтенант Петрищев совсем извелся, потому что он ждал боя и готовился к нему, а неопределенность была еще хуже и опасней, чем любая определенная опасность.

С утра Званцов с Абрамовым опять пошли искать противника. Они побывали в той роще, где когда-то стояла немецкая противотанковая батарея, потом отправились кругом с юго-запада на северо-восток к лесу, который должна была занимать одна кавалерийская часть и в котором разведчики ни разу не бывали.

Ни на опушке, ни в километре вглубь никаких воинских частей не оказалось. Званцов с Абрамовым пошли опушкой дальше, так что деревня, где стояла их рота, оказалась у них за солнцем.

Место было неровное. Они спустились в овраг, по дну которого там и здесь валялись стреляные почерневшие снарядные гильзы, вышли наверх, где по гребню проходила линия старых окопов. Званцову почему-то стало казаться, что он уже бывал здесь и знает места. Они перескочили через несколько полуобвалившихся ходов сообщения, многократно переплетенных серыми телефонными проводами. В просвете между деревьями что-то зачернело. Странное предчувствие укололо Николаю сердце.

Перед разведчиками, накренившись над окопом, стоял двухбашенный старый танк из званцовского сна. По вздутому борту шла надпись корявыми буквами: «Броня крипка, и танки наши бистри».

Званцова это так удивило, что у него сразу вспотела вся спина и он почувствовал, как гимнастерка облепила кожу.

И тут же в лес шла тропинка, которую он тоже помнил по снам.

Он откашлялся — у него сразу пересохло в горле, — кивнул Абрамову, и они осторожно двинулись по этой тропинке.

Они не прошли и километра, как впереди раздалось резкое: «Стой! Руки вверх, не двигаться!» Из-за кустов с нацеленным автоматом в руке вышел человек.

Он был в черной шинели.

В матросской.

— Кто такие?

— Свои, — ответил Званцов из-за дерева. (Они успе-

ли оба отскочить за деревья.) — Пехотная разведка. А ваша что за часть?

— Руки! — раздался другой голос.

Разведчики оглянулись и увидели, что второй матрос стоит позади них с автоматом.

— А ну-ка давайте отсюда, ребята, — сказал первый матрос. — Наша часть секретная. В расположение хода нет. Не задерживайтесь. Петров, проводи.

Второй матрос довел их до опушки, и разведчики отправились в свою роту. Но еще прежде, чем они ушли, Званцов успел заметить за деревьями силуэт какой-то большой машины. прикрытой ветками.

Они вернулись в деревню уже затемно, причем Званцов шел в самой глубокой задумчивости.

По дороге уже ближе к роте Абрамов стал вспоминать свою собственную службу на флоте и гадать, что же за секретная часть это может быть. Но Званцов почти не слушал его, с ужасом думая, что сейчас не доверяет ни Абрамову, ни Петрищеву, никому из тех, с кем он ночевал на КП, и даже самому себе. Сон переходил в реальность, и Званцову начало казаться, что он сходит с ума.

До самого позднего вечера он не мог решить, нужно или не нужно рассказывать лейтенанту о своих снах, и, ничего не решив, совершенно замученный, улегся на своем месте на КП. В комнате было шумно. Петрищев удвоил боевое охранение, приходили связные из взводов, и телефонист держал постоянную связь с батальоном.

Званцов заснул лишь к середине ночи, и как только глаза его закрылись, так сразу ему представилось, что он глядится в какое-то мутное стекло, в запыленное

зеркало, и в нем отражается лицо. Но снова не его, а чужое. Лицо!

Будто что-то ткнуло его в сознание. Он проснулся, мгновение соображая. Некая мысль озарила его. Он поспешно встал, взял свой полуавтомат и вышел из дому.

Эта новая ночь была ветрена. Поворачивало на непогоду, небо по западному краю затянуло тучами.

Званцов огляделся, подождал, пока глаза привыкнут к темноте, проверил в ножнах нож и спорой походкой пошел из деревни. Он знал, где сегодня стоят часовые, и, чтобы не наскочить на них, через огороды двинулся где ползком, а где короткими перебежками. Потом огороды остались позади, он вышел на тропинку, огибающую овраги. Сначала он шагал неуверенно, но затем перед ним легло подсолнуховое поле, и Званцов понял, что идет верно.

Он заторопился. Часто оглядываясь, почти побежал. На выходе из поля перед ним начала мелькать тень. Не теряя ее из виду, он пошел за ней и в лесочке нагнал поближе. То был старик из погреба. Но теперь он выпрямился, походка его стала легкой и гибкой. Чтобы не шуметь, Званцов скинул сапоги. В какой-то миг ему послышались шаги сзади, он спрятался в кустах и увидел, как мимо него, бледный, озираясь, скользнул особист Удубченко.

Званцов так и думал, что он должен здесь появиться, пропустил его и пошел сзади.

Он миновал лесок, но на широкой, просторной поляне увидел, что особист исчез и по траве идет один только старик. Званцов удвоил осторожность, обошел поляну краем и приблизился к старику, когда тот остановился, глядя в небо.

Званцов уже осторожно взялся за предохранитель

автомата, чтобы спустить его, и оглянулся, прикидывая, как ему действовать на случай нападения сзади. Но тут под ногой его что-то хрустнуло.

Старик обернулся в его сторону, и было неясно, видит он Николая или нет.

Туча нашла на луну, потом освободила ее.

Званцов приготовился было шагнуть за куст.

Старик, глядя на Званцова, сказал что-то не по-русски. И вдруг Николай ощутил свирепейший удар по голове. В мозгу у него как что-то взорвалось. Он обернулся и увидел, что в шаге от него стоит глухонемая дочка старика, держа в руке продолговатый предмет.

У него стали отниматься руки и ноги, и он подумал: так умирают. Но в этот момент оглушительно, как может только пистолет ТТ, грянул выстрел. Пуля слышимо пролетела мимо Званцова и ударила в старика, который охнул и согнулся. За спиной глухонемой девки появился особист Удубченко, на ходу одним махом сбил ее с ног и кинулся к старику.

Через две минуты все было кончено. Старик и девка, которая теперь уже не была глухонемой, а злобно ругалась по-немецки, связанные поясными ремнями, лежали на траве, а Удубченко, дрожа от возбуждения, говорил Званцову:

— Вот гады! Вот гады... Понимаешь, а я думал, ты вместе с ними. Чуть в тебя не выстрелил. Чуть тебя не срезал.

Николай, у которого начало проходить кружение в голове, подобрал на траве продолговатый фонарь, выроненный девкой, и пошел на середину поляны.

Немецкий самолет уже гудел в высоте, и Званцов уже ему сигналил, когда на поляне, поднятые выстрелами, появились моряки в черных шинелях, которые в соседнем

леске стояли с батареей гвардейских минометов, или «катюш», как их стали называть позже.

Званцов им все объяснил. А дальше события стали развиваться, точно как во сне Николая.

Самолет улетел. Некоторое время над поляной было тихо. Потом в небе возник огонек. Огромная черная птица бесшумно проплыла над верхушками деревьев. Планер, скрипя, снизился и побежал по поляне, срывая дерн своими шасси, обкрученными колючей проволокой.

Раскрылась дверца.

Но Званцов с Удубченко и моряки были наготове. Полетела граната, раздался залп. Фашистские десантники, захваченные врасплох, даже не пытались оказывать сопротивление. Весь их отряд был захвачен и, за исключением убитых, доставлен в роту Званцова.

А наутро фронт пришел в движение. Два батальона немцев при поддержке танков ударили на тщательно продуманную оборону лейтенанта Петрищева. Позади деревни начали выходить из окружения потрепанные дивизии 57-й армии и дивизион гвардейских минометов. А мрачный Петрищев сражался, обеспечивая их отход. Его рота была больше чем наполовину уничтожена, но выполнила приказ и ушла из деревни только на третью ночь, унося раненых и забрав с собой два оставшихся в целости орудия. Лейтенант Петрищев тоже катил пушку, вернее, держался за лафет. Он оглох, голова у него была туго забинтована. Но он продолжал отдавать приказания. Только их никто не слушал. Потому что он был в бреду.

Однако Николай Званцов именно в этих боях не принимал тогда участия и узнал о них позже по рассказам товарищей. Вместе с Удубченко, со стариком, бывшей глухонемой и оставшимися в живых немецкими десантниками его сразу направили в штаб дивизии, в Особый

отдел армин. Выяснилось, что «старик» был крупным немецким разведчиком-диверсантом, а ложная глухонемая — его помощницей. Их специально оставили в тылу отступивших немецких частей, чтобы выкрасть у нас новое оружие — одну из «катюш», значение и силу которых уже тогда понимала ставка Гитлера.

Фашистский диверсант обнаружил батарею и по рации, которая у него была спрятана в картошке в подвале, вызвал десант на лесную поляну. Но до того как вызвать, он несколько раз продумывал всю операцию, вернее, почти постоянно думал о ней и представлял себе, как она пройдет, как он вывезет «катюшу» через фронт, даже как доставит ее в Германию и получит награду от Гитлера. Он мечтал и представлял себе все это по ночам, сидя в погребе под ротным КП, и все эти мечты и представления каким-то непостижимым образом транслировались Званцову и возникали в его снах. И Званцов во сне даже говорил по-немецки и по-польски, чем и вызвал подозрения Удубченко.

Возможно, что этот фашист мечтал как-то очень активно и страстно и возбуждал вокруг себя некое неизвестное нам электромагнитное поле. Но скорее всего дело было не в качестве его мечтаний, а в каких-то особых способностях, которые вдруг проявились в Званцове. Ведь над этим «стариком» на КП роты ночевало много народу, а сны снились только Николаю. Да и кроме того, раньше был еще тот случай с многоугольником.

В Особом отделе армии Званцов рассказывал и о своих первых снах, о грузовике с бидонами и шофере. И немец показал, что это относилось к его воспоминаниям о тридцать девятом годе в Польше, когда они еще летом стали тайно завозить оружие в немецкие поместья на территории польского государства и создавать там

фашистскую «пятую колонну». Об одной такой истории, когда их чуть не выдал польский шофер, «старик» и вспоминал в ту ночь, когда Званцову снились парк и склеп, где прятали автоматы. (Тот маленький домик без окон был склеп.)

В Особом отделе очень удивлялись способности Званцова чувствовать чужие мысли и даже хотели задержать его при штабе армии, чтобы ему снились мысли тех пленных немецких офицеров, которые были убежденными фашистами и отказывались давать нужные показания. Но Николаю уже ничего не снилось, он чувствовал себя неловко при штабе и стал просить, чтобы его отпустили в батальон, что в конце концов и было сделано.

А Удубченко остался служить при Особом отделе. Он сдал туда пишущую машинку «ундервунд» и ту папку с делами. Его назначили ординарцем при одном подполковнике, и он сразу радостно приступил к исполнению обязанностей.

Вот такая история приключилась с Николаем Званцовым, и он рассказывал нам ее долгими вечерами в феврале сорок третьего года в Ленинграде, на Загородном проспекте, напротив Витебского вокзала. Одни сразу поверили ему, а другие выражали осторожное сомнение и говорили, что тут еще надо разобраться.

Действительно, тут еще не все ясно. Но, с другой стороны, мы и в самом деле не до конца знаем свой организм. Вот, скажем, друг рассказывал мне, что, когда он во время войны был в партизанах в районе Львова, в лесах, их часть наткнулась на одного танкиста. Этот парень бежал в сорок первом году из плена, но ему не повезло, он не сумел присоединиться ни к одной из групп и целый год прожил в лесу один, пока не встретился с нашими. Так за это время у него, например, выработалось



такое обоняние, что за пять километров он мог почуять дым и даже определить, что за печь топится — на хуторе или в деревне. Опасность он чувствовал тоже на очень большом расстоянии и ночью, лежа где-нибудь во мху под деревом, просыпался, если даже в километре от него проходил человек. Кроме того, он мог еще идти через любое болото, даже такое, где никогда раньше не был. Каким-то чутьем он уверенно вставал под водой на те кочки, которые не проваливаются, и свободно обходил опасные места. В партизанском отряде он стал потом разведчиком и однажды вывел людей по совсем непроходимой трясине, когда они были с трех сторон окружены немецкими карателями.

Хотя, пожалуй, это уже другое...

Вообще в те времена, когда мы слушали Николая Званцова, вопрос о передаче мыслей на расстояние вовсе не затрагивался печатью. И позже долгое время почему-то об этом ничего не говорили, так же как, например, о кибернетике. Но в последние годы положение переменялось. Не так давно в журнале «Техника — молодежи» была целая дискуссия по этому поводу. Там же было напечатано, что, когда в Москву приезжал Норберт Винер, прогрессивный зарубежный ученый, который написал книгу «Кибернетика», в Московском университете студенты его спрашивали, способен ли мозг давать электромагнитные волны такой мощности, чтобы их можно было принимать. Он ответил, что частота излучений мозга — та, которая пока известна, — настолько низкая, что для передачи и улавливания потребовалась бы антенна величиной с целый Советский Союз. Но тут же он добавил: не исключено, что мозг способен излучать и излучает более высокочастотные ритмы.

А недавно в одной из газет была заметка, где говори-

лось, что образы, например, — не слова, а образы, — возможно, и могут передаваться, и рассказывалось об опыте двух американских ученых, из которых один сидел в лаборатории и представлял себе разные фигурки, а другой в это время был далеко на подводной лодке и кое-какие из этих фигурок принимал в мозг.

Конечно, было бы хорошо, если бы Коля Званцов мог прочесть эту заметку. Ему очень приятно было бы узнать, что наука уже подходит к объяснению того, что с ним случилось. Но, к сожалению, он не может прочесть эту газету, поскольку он погиб на самом краю войны в 1945 году.

Один парень, который позже служил вместе с ним, рассказал мне, что тогда, после здравбатальона, Званцов участвовал в освобождении Луги, снова был ранен и, выйдя из тылового госпиталя, попал на 4-й Украинский. А там благодаря одной из случайностей, столь частых на войне, в один прекрасный день вместе с группой бойцов пополнения предстал перед лейтенантом Петрищевым, с которым вместе встретил двадцать второе июня сорок первого года под Брестом.

С Петрищевым Званцов вошел в Венгрию, зацепил даже кусочек Румынии, освобождал Дебрецен, повернул потом на Мишкольц, перевалил Карпаты и взобрался на невысокие горы Бескиды — уже в Чехословакии. Он исправно нес солдатскую службу, грудь его украсилась многими медалями и орденами, и он вырос уже до старшего сержанта. Но в зеленом месяце мае, когда их часть поддерживала танкистов генерала Рыбалко, в одной из схваток был ранен Петрищев. Званцов сам вынес с поля боя мрачного лейтенанта Петрищева, который, собственно говоря, был уже не лейтенантом, а капитаном, и не мрачным, а, наоборот, веселым и радостным, так как

война кончалась и семья его была освобождена войсками 2-го Украинского фронта, и он получил даже письмо, из которого понял, что жена его осталась жива и две маленькие девочки тоже остались живы и были уже не такими маленькими, поскольку подросли за четыре года войны и смогли даже написать ему кое-что в этом письме, но только печатными буквами. Званцов вынес капитана Петрищева и сам сдал его в санбат, и капитан записал ему свой адрес в далекой России, а Званцов положил эту бумажку с адресом в нагрудный карман гимнастерки. Потом он пошел в свою часть, но за это время обстановка переменилась. Батальон оказался отрезанным от санбата, и Званцову пришлось одному пробираться в направлении на Пршибрам. Он бодро пустился в путь, лесом обходя дороги, которые были заняты отступавшими фашистскими дивизиями, шел день, выпался ночью в лесу на поляне и утром увидел вдали городок, в котором рассчитывал найти своих. Но в долине внизу двигался большой отряд из «ваффен СС» — все в черных рубашках со свастикой на рукаве и в петлицах, с автоматами в руках и кинжалами у пояса. А когда он поглядел направо, то увидел там дым и гарь догорающей деревни, а когда посмотрел налево, по пути движения отряда, то увидел, что в другой деревне бегут женщины и дети, крестьяне выгоняют скотину из сараев, и услышал, что там стоит крик и стон.

Миг он смотрел на эту картину, потом кустами перебежал вперед, спустился пониже к дороге, выбрал местечко с хорошим сектором обстрела, прикинул, где он будет тут перебегать и маневрировать, снял автомат с плеча, лег, подождал, пока те, в черных рубашках, подойдут так, чтобы он мог видеть, какого цвета у них глаза, скомандовал сам себе и открыл огонь.

Но эсэсовцы тоже были, конечно, не лопухи. Для них война шла уже как-никак шестой год, они тоже все знали и понимали. Ни одной секунды паники они не допустили. Когда первые упали под выстрелами Званцова, другие тотчас залегли, рассредоточились, быстро сообразили, что он тут один, и, подавляя его огнем своих автоматов, стали продвигаться вперед.

Званцов стрелял в них и, когда эго ранило первый раз, в ногу, сказал себе, что хорошо, что не в руку, например, но тут же подумал, что, пожалуй, это уже не имеет значения, потому что жить ему осталось не часы, а минуты. И пожалел он чуть-чуть, что именно этой дорогой пошел отряд «ваффен СС» в черных рубашках, потому что и ему, конечно, лестно было бы вернуться в Ленинград и увидеть свою жену Нюту, с ней и сынишкой пойти весенним воскресным утром в Летний сад при всех орденах, постоять у прудика, где написано «Лебедей не кормить», и посмотреть, как солнечные блики играют на аллеях. Но делать ему было нечего, и он продолжал стрелять до тех пор, пока с гор не сошел партизанский чешский отряд и не ударил эсэсовцам во фланг, и они откатились и ушли, прогрызая себе путь на запад, чтобы сдаться в плен американским, а не советским войскам.

Чехи из чешского партизанского отряда подошли к Званцову и хотели сделать для него все хорошее. Но они уже ничего не могли для него сделать, поскольку Званцов лежал в луже крови и умирал. Они обратились к нему по-чешски, и он их почти понял, так как, двигаясь по Европе, изучил уже многие иностранные языки и, в частности, по-чешски знал слово «друг», которое на этом языке звучит, кстати, совершенно так же, как и по-русски.

Небо для него раскололось, запели невидимые

трубы, дрогнули земли и государства, и Николай Званцов умер.

Чехи из партизанского отряда подняли его, понесли на высокую гору и положили на маленькой красивой полянке в таком месте, где между больших камней, поросших травой, под соснами бьет сильный ручей с холодной кристальной водой.

И там Званцов и лежит до сих пор.

Но каменный уже.

Вышло, что в той чешской деревне был один чех по специальности скульптор. Из большой глыбы на той поляне он вырубил памятник. Из гранита сделана плита, а на ней упал на спину, запрокинув голову и раскинув руки, солдат. Вода из ручья бежит прямо по его груди, журчит и падает вниз.

Званцов лежит там один. Над ним качаются верхушки сосен; он смотрит в небо. Днем его освещает солнце, а ночью — луна, и всегда дует свежий горный ветер.

Один он лежит. Но внизу, метров на тридцать — тридцать пять ниже, есть такая поляна, побольше, где встречаются на свиданиях чешские девушки и парни, смеются, дразнят друг друга и плескаются из ручья.

А вода все льется и льется из его бесконечного сердца.

Ну что вы, ребята, загрустили и задумались? Кто там ближе, налейте еще по стопке, будем разговаривать дальше, вспоминать товарищей и то, что было.

Звук голосов донесся с террасы, и мальчик затаил дыхание, стоя на подоконнике. Угрюмое лицо выразило интерес, глаза зажглись.

Из форточки дуло. Он стоял в одной только ночной рубашонке, холодный ветер холодной рукой забирался ему в самую грудь. Еще минуту назад он упрямо повторял себе: «Пусть я простужусь. Нарочно. Заболею, и тогда тетя Маша не будет воображать, что мне с ней хочется жить. И отвезет меня обратно, откажется». Но все эти мысли были минуту назад, а теперь он соскочил с подоконника, босыми ногами тихонечко прошлепал по деревянному полу, приложил ухо к щели между дверью и косяком. Неплохо слышно было, хотя разговор шел вполголоса.

За окнами чуть серел рассвет, но степь под непривычным, огромным, негородским небом вся еще лежала во мраке, и не видно было, что там делается. Иногда с высоты доносилось какое-то дальнее курлыканье, порой в траве трещало, будто рвали материю. Вчера, когда они ехали на быстром «Стриже», мальчик понял, что степь — это когда ни лесов, ни гор, а пусто. Тетя Маша все старалась развлечь его дорогой. «Вот орел летит, видишь, Коля? Он черный, его зовут орел-могильник... А вот

там сурок встал — смотри-смотри!.. А эти красные цветы — маки, а эти — тюльпаны. Красиво, да?..» Но он-то знал, что ни орел, ни сурок ему ни к чему — их ведь не поймаешь все равно. И тем более маки с тюльпанами...

Где-то за домом тихонько урчал мотор «Стрижа», с террасы доносились голоса. Тети Маши и этого длинного, загорелого, который встречал их вчера в доме и которого звали Юрием Павловичем. А дядя Гриша, шофер в больших желтых сапогах, был теперь, наверное, возле машины.

— Нет, нет, — говорила тетя Маша, — я не беспокоюсь. Я уверена, что он даже не проснется до нашего возвращения. Он ведь почти всю ночь не спал в поезде, очень устал и глаза откроет часов в одиннадцать. Но вот я думаю...

— Что?

— Может быть, все иначе устроить? Один из нас останется на станции... Или съездить завтра?

— Но, Маша, послушай! Пропустим ночь полнолуния, тогда опять год дожидаться мая... Знал бы я раньше, что ты его привезешь, вызвал бы хоть Степана Петровича. Ты ведь даже не предупредила.

— Не хотела предупреждать... Ну ладно. А ты считаешь, что сам не сумеешь отобрать хроматограммы?

— Я же в них ничего не понимаю. Это обязательно должна сделать ты. А Гриша за это время успеет получить стержни в ВИИ... Уж так сошлось все. Если сегодня не заложим эксперимент, считай, что годовая работа станции пропала.

— Ну почему пропала, Юра? Я же тебе сразу сказала вчера, что утром съездим.

— Вчера сказала, а сегодня боишься оставить его одного.

— Нет, я не боюсь. Ты меня неправильно понял. Я только за суслика Васику беспокоюсь.

-- Да... Знаешь, я так удивился, когда он в него кинул камнем. Он хотел его убить? Как ты думаешь?

— Не знаю. Но кажется, он не любит животных. Это мы в нем должны победить — самое страшное ведь для ребенка, верно?.. И еще я чуть-чуть опасуюсь, что он случайно войдет в Страну.

Мальчик переступил за дверь. «Не любит животных». Почему-то эта тетя Маша воображает, что ей все-все о нем известно. А его-то как раз животные привлекают. Например, оторвать у жука половину лап и посмотреть, что он будет делать. Из-за этого взрослые всегда ругаются. Но у взрослых притворство. Когда в школе он кошке в морду плеснул кипятком и учительница вызвала Серафиму, та с такими круглыми глазами стояла и все говорила: «Не могу понять, откуда у него такое». А дома, если букашку увидит или паучка, то сразу: «Колька, иди сюда! Возьми бумажку, раздави и выкини...» И все собаки у нее «гадость», а все кошки «зараза»... Впрочем, и другие взрослые тоже врут. Учительница ему нудила-нудила, что животных нельзя обижать, а сама как будто не знает, что ученые лягушек режут и смотрят, как у них лапки дергаются.

А на террасе продолжался разговор:

— Ну, если ты думаешь, что он войдет в трансфер и окажется в Стране, тогда мы вообще не можем ехать. — Это был голос дяди Юры. — И взять его с собой тоже нельзя. Вчетвером, да еще с оборудованием на «Стриже» не поместишься. На крышу ведь не сядешь.

— Ну вот, — сказала тетя Маша, — ты меня уже упрекаешь...



— Ничуть. Просто думаю, что сделать, чтобы он к трансферу не подходил. Если б вчера днем мы с Гришей знали, мы бы начали выключать установку, и как раз к утру готово было бы. Хотя вот... Знаешь, я о чем подумал? Если там в комнате придвинуть шкаф к двери. Придвинуть изнутри, а потом выбраться через окно.

— Что ты, Юра! Тогда он сразу поймет, что мы ему не доверяем. А с этого нельзя начинать. Ему дома никто не верил — ни отец, ни эта Серафима. Я о другом думаю. Я его, пожалуй, просто разбужу и скажу, что вот нам надо уехать часов на пять, а он должен не входить в ту комнату. И все. Как со взрослым человеком. Согласен?

— Н-не знаю. Но если тебе кажется...

— Почему мне одной, Юра? Такие вещи нам нужно решать вдвоем. Раз мы... раз мы скоро будем вместе, Коля тебе должен стать таким же родным, как и мне.

— Конечно, Маша. Я понимаю. Но все так неожиданно. До вчерашнего дня я еще ничего не знал.

— Почему?.. Помнишь, я тебе зимой говорила, когда из Москвы вернулась, что Петр все-таки женился на Серафиме и ребенку очень плохо... Одним словом, я сейчас пойду и разбужу его.

Мальчик почувствовал, что лицо его заливают жар. Ах, вот в чем дело! Отец с Серафимой, значит, совсем от него отказались. И раньше было, что Серафима его «наказаньем» называла, а теперь уж совсем... Ну ладно. Так даже лучше. Только эти от него тоже не дождутся хорошего. Новая мама — тетя Маша, и новый папа — Юрий Павлович этот, загорелый как негр, с белыми волосами и с веснушками, которые у него даже сквозь загар видны.

Он закусил губу, сжал зубы. Пусть! Он им покажет. Раз они за своего суслика так переживают, то поймать этого Васика и... Тогда сразу в Москву отвезут.

Он услышал шорох на террасе, мгновенно скользнул к постели, лег и накрылся одеялом. Дверь скрипнула, потом рука тети Маши опустилась ему на плечо.

— Коля... Коля!

Он притворился, что спит.

— Коля, проснись.

Мальчик открыл глаза.

С тетей Машей вошли холодок и степные запахи. Она была в плаще и со шлемом, который надевают, когда ездят на «Стриже». Но пока еще шлем болтался, пристегнутый на пуговице. Тетя Маша наклонилась над постелью, стриженные волосы свесились надо лбом.

— Проснись, Коля. Мне нужно тебе кое-что сказать. Проснулся?

Мальчик поморгал.

— Да, тетя Маша.

— Зови меня просто Маша... Нам надо уехать на несколько часов. А ты останешься на станции один. Будешь присматривать за порядком... Завтрак на столе. Молоко и хлеб. Понял?

— Понял, тетя Маша. — Он старался, чтоб голос у него звучал покорно-покорно.

— Если нас будут спрашивать по телику, скажешь, что вернемся к одиннадцати. Будут приходить звери, не пускай их в дом. Олень может прийти, его зовут Старт. И антилопа кана. Знаешь, такая большая — ты, наверное, видел в кино. Тогда закрой дверь на террасу, они поймут, что нас нету, и уйдут себе. В общем, не позволяй им входить в дом.

— Ладно, тетя Маша,

— И еще вот что запомни — это самое важное. Не ходи в зал за красной дверью. Там идет опыт. Если войдешь, может случайно что-нибудь нарушиться. Понимаешь?

— Да, тетя Маша.

— Зови меня просто Маша. Ведь мы с тобой двоюродные брат и сестра... Помни, опыт очень серьезный. Это для экспедиции, которая полетит на Уран... Одним словом, ты все понял, да? Если сказал — не войдешь, значит, так и будет. Мы тебе доверяем, как взрослому. — Она глянула на часы. — Нам пора. Ты еще поспи, а потом позавтракаешь. Ну, до свиданья.

Мальчик почувствовал, что она хочет его поцеловать, и весь сжался. Он-то знал, что это притворство Серафима, когда первые разы его видела, тоже все лезла целоваться. И эта: «Коля, Коленька», а когда он в сублика камнем кинул, видно было, как помрачнела. И в поезде еще раньше, когда не хотел спать, — другие пассажиры тоже уговаривали, будто их дело, — она два раза вздыхала. Но если так, не надо и прикидываться, что любишь. Хоть он отцу не нужен и Серафима его не любит, все равно пусть обратно везут.

Но тетя Маша не поцеловала. Только постояла как-то неловко над ним и вышла.

За домом взревел мотор «Стрижа», потом шум сделался тише, ровнее и стал удаляться.

Уехали.

Мальчик вскочил с кровати, проворно скинул рубашку, надел трусики. Подошел к двери, отворил, прислушался. Все молчало кругом, только ветер шелестел. Край неба стал светлее, но над головой мальчика еще бледно горели звезды. Степь лежала во все стороны, как море. Дом с двумя высокими тополями у крыльца

и третьим подальше казался островком в этой бесконечности.

Птица порхнула из травы. Треск ее крыльев напомнил звук, который издает мотор «Стрижа», когда его только начинают заводить. Мальчик подумал, что на «Стриже» сейчас хорошо. Дядя Гриша над рекой ведет, потому что так скорость больше. Но и над степью приятно — качает здорово и интересно смотреть, как от воздушной струи трава сзади ложится на две стороны, будто на пробор причесана.

Осторожно, как с берега в незнакомую воду, он ступил с крылечка. Предутренние сумерки обволакивали, чудилось, со всех сторон затаилось что-то и ждет.

Мальчик сделал несколько шагов вправо — невысокая стенка темнела тут. Он с вечера запомнил, что это штабелем сложены куски яркой красной пластмассовой изгороди. Тетя Маша мельком сказала, что из них забор составляется, когда нужно от животных отгородиться, чтоб не мешали.

Что-то большое, неопределенное, серое вдруг возникло неподалеку. Приблизилось, сверху его увенчивали две ветки. Пятно вздохнуло, фыркнуло. И сразу обрисовались широкая грудь, задранная кверху голова, тонкие стройные ноги.

Олень!

У мальчика сильно билось сердце. Как он испугался! И обозлился. Ведь бояться должен не он, не человек.

Они смотрели друг на друга. Олень вытянул шею. Морда его была недалеко, рога напоминали теперь уже не ветви, а две большие коряги, гладкие, черные, сучковатые, которые в старом пруду можно вытащить из воды.

Мальчик взмахнул рукой. Олень дернулся, отступил.

Ага, боишься! Он шагнул с крыльца, нагнулся, пошарил. Камешек, круглый, величиной с грецкий орех, лежал, как нарочно приготовленный. Мальчик схватил его, кинул. Камень тупо, не звучно стукнулся о бок оленя. Будто в диванную подушку.

— Эй, пошел, тебе говорят!

Олень подбросил переднюю часть тела в сторону и вверх, потом плавно отъехал сразу далеко. И исчез, растворился обиженно в полумраке. Только на миг слышался топот оттуда, со степи.

Мальчик прошелся взад-вперед. А ну, кто там еще есть, выходи!

Но степь молчала. Стало вдруг зябко, он передернул плечами. Все-таки чуждо ему здесь. Еще раз подумалось, что хорошо бы заболеть. Но по-настоящему, чтоб в больницу отвезли. Потому что там полная воля. Не желаешь есть или спать, колоти руками и ногами по полу, реви во все горло, никто тебе подзатыльника не даст, никто в темную комнату не запрет. Нянечка и сестры только забегают, засуетятся. Толстая врач придет, станет расспрашивать, что, почему.

Он поднялся на террасу, вошел в кухню. Молоко в толстой большой кружке было вкусное. Но не коровье. От каны, может быть. Сладкое и густое-густое.

Он сжевал кусок хлеба, огляделся. Теперь исследовать дом и найти этого Васику. «Мы тебе доверяем, как взрослому». Еще чего?! Взрослым как раз нельзя верить. Отец сколько раз обещал одно, другое. И никогда. «Папа, ну садись, порисуем...» — «С чего это вдруг?..» — «Ты же обещал...» — «Да некогда. Не морочь голову». А как он в прошлом году ждал, когда отец в командировке был на этой Огненной Земле. Приехал — и сразу же в комнату к Серафиме. Не заметил даже, кто в при-

хожей стоит, во все глаза на него смотрит. У Серафимы говорят-говорят, он вошел, а отец даже ни разу не глянул в его сторону. Даже про отметки не спросил за вторую четверть первого класса. Поэтому с той маленькой стеклянной штукой так и вышло, которую отец Серафиме привез и которая разбилась. Он вертелся-вертелся возле них, взял ее со стола, а она выронилась. Тут-то они на него обратили внимание. Отец красный стал, а у Серафимы лицо каменное сделалось. У нее только два лица и бывает для него. Одно каменное, с поджатыми губами: она, мол, про него и так все знает, а сейчас только лишний раз убедилась, что он ужасный. И второе сладенькое. Это когда отца нету, а ей что-нибудь надо «Коля, посидишь дома, а я к Верочке схожу. Если меня мужской голос будет спрашивать, дай Верин номер. Если женский, спроси кто и скажи, что я в ателье пошла... Ладно, договорились?» И смотрит, улыбается, будто они друзья-друзья неразлучные.

Но это так раньше было. Теперь-то его никто ни о чем не просит, потому что он всегда все делает наоборот и назло. Такое у него правило, наоборот и назло.

Коридор был неожиданно длинный. Зеленая дверь, синяя... А справа в окнах все еще раннее-раннее темное утро. Он толкнул красную дверь.

Целый зал это был, а не комната. На миг мальчику представилось, что помещение перегородивает решетка. Однако, подойдя ближе, он понял, что это выпуклая стеклянная стена, в которую зачем-то вделаны прутья. Довольно громко что-то гудело, скорее всего установка, о которой на террасе говорили. Но гул был заметен только, когда о нем думаешь. Забудешь — и нету. В центре потолка висел экран вроде телевизионного, но круглый. Он слабо светился, ничего кругом не освещаая.

Может быть, здесь и есть вход в Страну?

Маленькая тень мелькнула внизу у ноги — там, за стеклом. Ага, суслик.

Мальчик присел. Тень доверчиво приблизилась. Было видно, как поблескивают глазки, как шевелится носик, приплюхиваясь.

— Брысь! Вот я тебе!

Он стукнул кулаком в прозрачную стенку. Тень испуганно метнулась и замерла. Мальчику нравилось, когда его боятся.

— А ну, иди сюда!

Зверек еще раз метнулся и сел столбиком.

— Не слушаешься! Ну погоди!

Мальчик пошел вдоль стеклянной стенки, ведя по ней рукой. Стенка прервалась, перед ним был вход под купол. Дверца, которая подавалась при нажиме, а потом мягко закрылась сзади.

Он увидел на полу в центре провал. Сразу подумал, что суслик может туда юркнуть. Шагнул вперед под светящийся экран и...

Все переменилось кругом. Усилилось вдруг гуденье, дошло до свиста и оборвалось. Стекланный купол раздвинулся, светящийся экран укатился вверх на страшную высоту. Его самого встряхнуло — как ударили по затылку. Великан ростом с пятиэтажный дом, злой, недружественный великан — почему-то он понимал это — приближался, вихляясь, неуклюже, будто готовый обрушиться, и занес ногу — подошва была как днище пяти-тонки....

Еще секунда, и она обрушится на него. Отчаянием сжало сердце, не то крик, не то писк вырвался из груди. Он бросился в сторону. Рядом была какая-то темная яма, он прыгнул, не рассуждая. Перекатился не-

сколько раз со спины на живот, но не ушибся, вскочил, побежал. На миг удивился, что бежит на четвереньках, но так было удобнее, и удивление сразу исчезло.

Впереди что-то брезжило, туннель надвигался с обеих сторон, полого повел кверху и кончился.

Все мысли о злом великане оборвались. Восхищенный, замер на миг: перед ним была удивительная Страна, вся живущая, трепетная, наполненная запахом, секретным несильным светом, звуком, движением.

Густо стояли деревья с зелеными стволами, и от стволов отходили не ветки, а длинные кожистые колеблющиеся ленты. Одни деревья были большими — стояли как березовые рощи, упираясь в небо, а другие были совсем маленькие деревца, даже как бы кусты — ему по пояс. Порой по лесу проходило волнение. Зеленые ветви-ленты принимались покачиваться — это покачивание начиналось где-то слева, вдалеке, захватывало все, что видел глаз, катилось вправо и уходило, чтоб уступить место новой волне.

Земля под деревьями была покрыта серыми толстыми нитями, кое-где среди нитей и листьев высились горки камней, груды мягких катышков и глыб разной формы. Тут тоже все шевелилось; вздрагивали листья, чем-то толкаемые снизу, напряженно сокращались, сгибались, а затем выпрямлялись зелено-серые нити, иногда срывался с вершины горки камешек, что-то черное, блестящее выглядывало из-под кучи мягких катышков и пряталось ревниво.

Запахи струились отовсюду, ощутимые, плотные, что хоть бери и щупай пальцами. В воздухе от них просто не оставалось свободного места. Снизу кверху они шли пластами, различающимися между собой, как дерево от кирпича и кирпич от стекла. Пласты перемещались, да

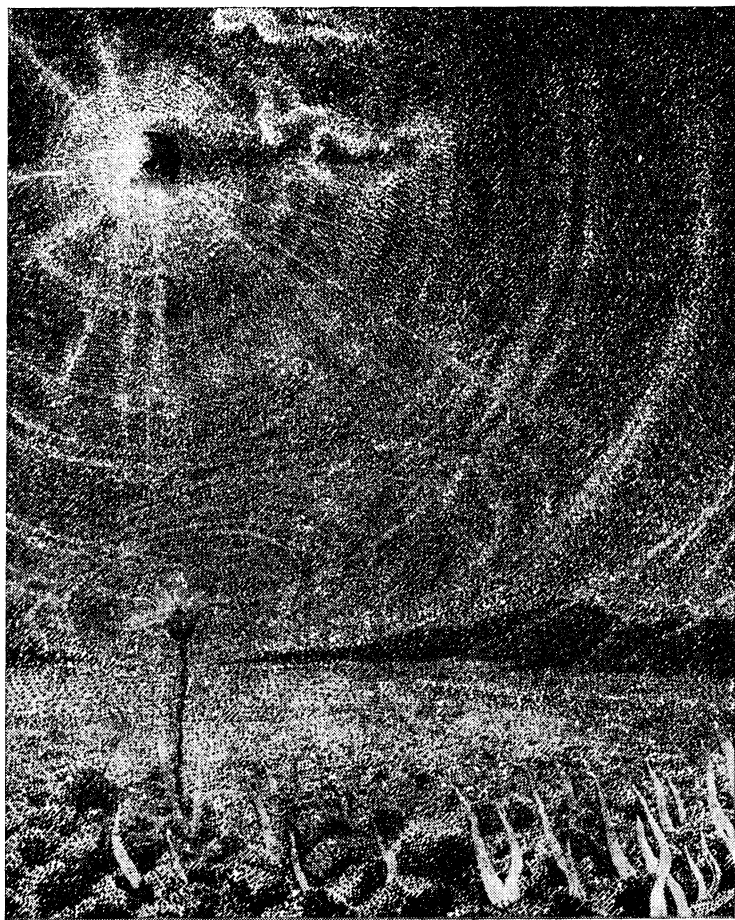


еще среди них текли реки и ручейки других запахов. Порой вся эта картина смещалась от порыва ветра, следуя той волне, что пробегала по ветвям-лентам.

И вся эта серая окрестность звучала непрерывно, переговаривалась на разные голоса, перестукивалась, перезванивалась, но не просто так, а вроде бы готовясь к чему-то, настраиваясь, подобно оркестру перед началом самого важного для всех, самого главного концерта. Где-то бухал раз-два колокол, пробуя силу. В другой стороне волюночка запевала и умолкала, запнувшись, скрипач начинал свою мелодию, а потом обрывал стыдливо, догадавшись, что не в тон и не вовремя, неведомая арфа стихала, колебнув свои струны, что-то шипело, скрипело негромко, посвистывало, шуршало и тоже стихало в ожидание. Эти перерывы делались все короче, напряжение росло, казалось, вот-вот должен подняться невидимый занавес и вот-вот будет дан сигнал невидимой палочкой невидимого дирижера.

Движение и шевеление совсем прекратились, запахи перестали плясать.

Он стоял, чуть сгорбившись, захваченный всеобщим ожиданием, всматриваясь, вслушиваясь, ощущая и уже томясь, что не приходит то, что должно наступить. Затем что-то мелькнуло в глазах, — чувство тепла и радости возникло в груди, оно ширилось, захватывая, пронизывая каждую клеточку тела, он зажмурился на миг, ошеломленный, ибо и не подозревал, что может быть такое всеобъемлющее счастье, потом открыл глаза и увидел — все волшебным переродилось вокруг. Серые деревья, нити и листья засверкали тысячей разнообразнейших оттенков зеленого, небо стало голубым, запахи сделались тоньше, определеннее, а невидимый всеобщий оркестр, настроившись наконец, вступил в полную силу.



Ударили барабаны, колокольчики, колокола, запели скрипки, валторны, арфы, загудели рожки, гобои, фанфары.

И он сообразил, что свершилось то, чего он ожидал еще раньше, в том, другом мире, в комнате, на веранде и во дворе, — взошло солнце.

Выпрямился, не вполне веря себе, лишь смутно понимая, что является участником великого праздника, который солнце каждое утро дает всей живой природе и которого уже почти не чувствует человек.

Пробежался, расталкивая послушно отгибающиеся зеленые ленты, поднялся на холм и застыл. Вправо, влево, вперед простирались зеленые леса, рощи, заросли, вдали они делались серыми, синими и голубыми. Бездонным было небо, безбрежной, бесконечной — земля.

Рядом дрогнул зеленый ствол, из-за него высунулась размером с кулак голова странного существа. Два длинейших рога над парой черных глаз. Длинная верхняя губа, точно клапан, прикрыла нижнюю челюсть. В хитиновом твердом покрове существо было похоже на какую-то машину. Проворно стало взбираться на дерево, задние длинные ноги просто волоклись сзади. Устроилось повыше, прислушалось, оглядываясь. Подняло одно надкрылье, стукнуло по другому, и так несколько раз отдельными звучными ударами, как бы настраивая инструмент. Деловито у него все получалось. Еще несколько ударов, по-разному сгруппированных, с разными интервалами... Затем надкрылья приподнялись, быстро задрожали, и полилась песня — вклад во всеобщий концерт, сольное выступление, которого будто только и не хватало.

А он слушал, заинтересованный, поглощенный.

Раздалось низкое гуденье, как будто пикировал ре-

активный самолет, он невольно прижался к земле. Гуденье narosло стремительно. Темный мохнатый ком пронесся рядом, с размаху ударил в зеленый ствол дерева, отскочил, полетел дальше, задевая ветви, молодцеватый, уверенный в себе, как если б главное его удовольствие и составляла эта возможность обо все стукаться.

Справа под листом два гигантских черных жука с зеленым отливом, как елочные стеклянные игрушки, сидели один против второго, чуть поводя усиками. Возможно, то была дуэль, но своеобразная, в которой надо было не пересилить, а просто пересидеть друг друга. Слева шевелилась земля, чья-то розовая спина высунулась на миг и исчезла, а шевеленье пошло дальше, отмечая путь невидимого уже обладателя спины.

Нарост на дереве вдруг отделился от ствола, развернул крылья и полетел. Толстенная змея, но очень короткая, похожая на кактус, с красными пупырышками, из которых росли волоски, выползла на огромный лист. Даже непонятно было сразу, чем она тут намерена заниматься. Покрутила головой, как бы случайно опустила ее и выгрызла кусочек зеленой ткани. Опять стала крутить головой, еще раз ненамеренно задела зеленый ковер листа. И представить невозможно, что она просто ест, но через две минуты уже целая дорожка оказалась проделанной на листе.

Он заметил, что тут все вообще совершалось вроде бы случайно, нехотя, с ленцой. Случайно наткнувшись на высохший стебель, гигант муравей тащил его куда-то, бросал, а потом другой такой же гигант как бы ненамеренно подхватывал стебель. Все напоминало детский сад, где дети приходят в столовую, суетятся, болтают, вертят головой, смеются, время от времени под-

носят ложку ко рту, чтоб тотчас, заинтересовавшись чем-то посторонним, оставить ее, но в конечном счете тарелки пустеют, и завтрак оказывается съеденным.

Он скатился с холма — не удивляло, что руки у него превратились в поросшие шерсткой ноги с черными коготками на пальцах. Пронесся через сто запахов и кончиками усов ощутил сто разных поверхностей, задевая то камешки, то листья, то стволы разных деревьев. Очутился в долине — здесь под огромными листьями, как под шатрами, стояли тень и сырость. Да и вся долина была еще по-утреннему захвачена тенью. Вправо она переходила в каньон, чуть ли не в пропасть, дальше за пропастью виднелись высокие горы, тоже покрытые лесом, а что за ними, можно было только гадать.

Однако он начал чувствовать какое-то томление. Ноги произвольно двигались, внутри что-то сосало, хотелось бежать, торопиться. Он потрусил долиной, спугивая ее жителей, нарушая в одном месте охоту, в другом — свиданье друзей, в третьем прерывая певца, уже изготовившегося испустить свою трель.

Было непонятно, чего ему хочется. А томление росло, тело делалось беспокойнее. Поднялся на гору, спустился с нее. Ломило мышцы, мутилось в голове. Потускнело, сделалось серым небо, зелень теряла яркость, звуки — звонкость. Запахи стали слабее, и только один, недавно появившийся, перебивал все остальные. Он пошел, побежал по реке этого запаха.

Он куснул ветку — нет, не этого ему хотелось. Среди камней стояли большие деревья, с зеленых веток свешивались комки, похожие на кочаны цветной капусты.

Попробовал кочан. Как только тот хрустнул на зубах, томление сразу прекратилось, он понял, что просто голоден. Никогда и ничего столь вкусного он не пробо-

вал. Хрустело на зубах, а сила и радость ощутимо вливались в кровь. Небо снова сделалось голубым, травы — яркими.

Он наелся, и опять безудержная радость овладела им. Подпрыгнул, закричал что было сил...

Предупреждающий свист раздался неподалеку. Смутное сознание опасности охватило его. Сжался, юркнул в гущу переплетенных зеленых стволов, лег там.

И вовремя. Засвистело уже по-другому, зашелестело. На то место, где он только что был, неведомо откуда взявшаяся, опустилась летательная машина. Раздвинулись крылья, закрывая полгоризонта. Острые стальные когти на желтых бронированных пальцах — каждый мог охватить его целиком — царапнули камни. Два круглых глаза, близко поставленных над крючковатым клювом, бессердечно, жестоко глянули на него, как бы упрекая. Клюв раздвинулся, на миг раскрылось горло — дыра такая широкая, что можно было целиком провалиться и исчезнуть навсегда. Клюв щелкнул, глаза погасли разочарованно, крылья взмахнули, лапы пробежали по земле, летательный аппарат поднялся и через секунду исчез в небе, растворился.

Страх охватил его, просто парализовал. Как весь он был радостью минуту назад, так теперь стал ужасом. Забыл про зеленые вкусные кочанчики, про чудесные запахи, ощущение тепла и света. Но ненадолго. Полежал, опять стал слышать, как вокруг всякие поменьше его возьятся, поют, скребутся, шуршат.

Встал на ноги, взобрался на ближайший холм, огляделся. Вдали высилось что-то огромное, как бы противоречащее всему другому — серая масса, вздымающаяся в небо на гигантскую высоту, как гора Казбек, но с ровными отвесными краями. Может, это дом, откуда он

ушел через подземный ход... А во все другие стороны лежал бесконечный, непрерывно меняющийся мир. Солнце светило, навстречу ему раскрывали головки цветы. Пунцовые маки, желтые и фиолетовые ирисы, карминные и желтые тюльпаны. Разноцветные леса стояли по холмам и долинам — белые, красные, розовые, синие государства.

Он пустился в путь. Ожидание новых встреч звало его к фиолетовым странам. Время от времени сторожко поглядывал на небо, зная теперь, что не так уж оно безопасно. Возле рощи зеленых деревьев проскочил мимо змеи — живой стенки высотой в его собственный рост, мускулистой, изгибающейся. Змея была занята важным делом — выползала из своей старой, прошлогодней шкуры.

С бьющимся сердцем проскочил мимо и радостно поспешил вперед, уходя все дальше от дома.

В одиннадцать часов двадцать минут быстрая машина «Стриж» на воздушной подушке подкатила к станции, притормозила у красного пластмассового штабеля, стала полозьями на траву. Пока водитель возился, выключая мотор, молодая женщина и молодой мужчина выскочили из тесного маленького кузова, кинулись к дому.

Вошли в комнату возле террасы — никого нет. Посмотрели друг на друга, заторопились в красную комнату. Мальчик понурившись сидел в трансфере, под стеклянным колпаком у входа в Страну. Он поднял голову, вяло, бессмысленно улыбнулся. Уже не совсем мальчик это был. Часть его человеческого сознания ушла со зверьком и была замещена инстинктивным сознанием

маленького животного. Он с трудом, неуклюже поднялся.

Молодая женщина закусила губу: как страшно с этой секунды меняется ее жизнь. Взяла двоюродного братишку к себе, чтоб сделать мальчика счастливым, и в первый же день погубила его. Такого никогда не забыть, не простить до самой смерти. «Но как я смею думать о себе. Надо спасти Колю. Если зверек, ушедший с частью его сознания, погибнет, если орел унесет или змея проглотит...» Она повернулась к Юре. Но того уже не было в красном зале.

Он стоял в комнате связи, поспешно передвигал рычаги на пульте, вызывая то одну, то другую из ближайших станций. Завязывался короткий разговор.

— Федор Игнатьич!

— Ага. Слушаю.

— Это Андреев с Пятнадцатой. У нас несчастье. Мальчик попал в трансфер, обменялся с сусликом.

— Еду.

— Ты остановись, не доезжая километра. Больше чем на километр суслик не мог отойти. Остановись и жди других.

И сразу переключался рычажок.

— Гаврила Матвееч. Андреев говорит. У нас на Пятнадцатой мальчик попал в трансфер...

— С сусликом обменялся?

— Ага. Нас не было...

— Я провод зуммеровый беру с собой...

Мария выбежала во двор. Юрий Павлович и шофер Гриша, побледневшие так, что было это видно даже сквозь загар, растаскивали штабель красных пластиковых оградочек. Антилопа кана недоуменно поворачивала маленькую головку на длинной изящной шее, с высо-



ты своего огромного роста оглядывала эту суету. Уже было время подоиться, а никто и внимания не обращал.

Маша кинулась в красный зал, взяла мальчика за руку, повела в комнату возле террасы. Он все хотел стать на четвереньки, она, глотая слезы, не позволяла ему. Посадила на постель, ласкового и послушного, заперла дверь.

С крыльца она оглядела небо. Темная точка маячила в небе. Маша крикнула:

— Юра! Юра! Смотри!

Юрий Павлович кинулся на террасу, сорвал со стены ружье, запыленное, потому что им годами не пользовались. Из ящика стола вынул два патрона. Выскочил на крыльцо, бахнул вверх.

На стометровой высоте орел, присмотревший острым взглядом жертву, услышал выстрел, ощутил, как дрогнул воздух неподалеку. Оскорбленный, перевалился на крыло и гордо поплыл к реке, блещущей вдали.

Маша бросилась со двора и остановилась. Ветер стих, густые травы стояли почти неподвижно. Но она-то знала, как напряженно живет этот мир, бесконечный и безграничный, на уровне ее ступни. Молчали заросли молочая и ромашки, чуть колыхались колокольчики, темнели фиолетовые шалфеи. Разноцветные ковры стелились один к другому, просторно уходили к горизонту. Где сейчас блуждает мальчик-суслик?.. Жив ли еще?

Юрий Павлович, с напряжением закидывая в кузов «Стрижа» пачку красных оградок, окликнул:

— Маша, не паникуй! Найдем!

А он двигался сквозь розовую страну. Росли деревья, зеленоствольные, и каждое на конце там, над головой, увенчивал ярко-красный купол. Деревьев было

множество, купола почти смыкались, солнце светило сквозь них, земля окрасилась розовым. Сверху сыпалась желтая тюльпанная пыльца — аккуратные, легкие, пористые глыбки желтого света. Иногда заросль колокольчиков попадалась среди тюльпанов, тут тени внизу становились голубыми, а все вместе напоминало удивительный фейерверк, который только устроили не вечером, а днем.

Земля вдруг ощутимо затряслась, живое вокруг стихло. Будто кто-то бил молотком, катастрофически быстро приближались чьи-то шаги. Он высунулся из-за кустиков, увидел гигантское несущееся к нему тело на длинных ногах. Огромное копыто ударило почти рядом, едва успел отскочить. Белое, шерстью покрытое брюхо проплыло над головой — это был олень. Смутно вспомнилось, что его зовут Стартом.

Гигантский зверь пробежал, маленький мир опять ожил, возвращаясь к своим делам.

Его опять стало томить, но как-то иначе, чем прежде. Он не находил себе места, свет сделался не мил. Он стал исследовать запахи, зашпешил, заторопился. Один запах что-то обещал. Побежал, стараясь не потерять его. Почва все понижалась. Что-то сверкнуло бриллиантово впереди. Он бросился к этому сверкающему, сунул мордочку. Вода!

И снова было невыразимое блаженство. Сердце замирало от наслаждения. Жизнь теперь состояла из желаний, сильных, определенных. Начинает чего-то хотеться, ищешь, весь отдаешься поиску, а когда найдешь, эта дверца закрывается и новая распахивается. Неинтересно заглядывать ни в прошлое, ни в будущее, все существует здесь и теперь.

Серое чудище, прятавшееся в воде, вдруг высунуло

морду перед самым его носом, раздвоенный язычок плясал в разинутой пасти. Он шарахнулся в сторону, так и не узнав, от чего спасся, заторопился наверх, наверх, выбрался на плоскогорье и замер.

Потому что неподалеку сидел на земле такой же, как он сам.

Зверь не то улыбнулся ему, не то оскалил зубы. Рядом была нора, приманчиво чернел вход. Забраться бы в темноту и покой, заснуть там в прохладе, где никто не набросится с неба.

Он метнулся к норе и только сунулся туда, как зверь, подскочив, схватил его острыми игольчатыми зубами за ухо. Боль пронзила все тело так же остро, как прежде — чувство голода и жажды. До того неожиданно это было, до того ошеломляюще и обидно, что он едва не потерял сознание. Заверещал, оскорбленный, ощущая, как кровь каплет с уха на щеку и шею.

Он увидел, что кругом еще много таких зверей. Каждый сидел у норки и всем своим видом давал понять, что не пустит.

А желание поспать уже вытесняло боль. Полез было в нору, возле которой никого не было, но такое грозное хрюканье раздалось изнутри, что выскочил как ошпаренный.

Перевел дух, и вдруг прямо с неба обрушилась и стала наземь огромная красная стена. Загородила горизонт, необъяснимая, пугающая. Появились два великана. Они тяжело, медленно переступали и переговаривались на высоте низкими, гудящими голосами.

Смутно подумалось, что не все великаны злы, но рисковать не приходилось.

Еще одна стена обрушилась и стала рядом с первой,

а в уши неожиданно ввинтилось что-то резкое, режущее, раздирающее мозг.

Страшно стало до невозможности, и он бросился прочь.

Люди прикрыли станцию с запада пластиковым забором. Сами образовали разорванный круг диаметром около двух километров и стали сходиться, сужать его к забору. Они волокли за собой толстый провод, издающий во всех частях высокий, пронзительный, вибрирующий звук.

Сначала почти ничего не было видно в травах, но по мере того, как круг уменьшался, то там, то здесь замелькали суслики, тушканчики, мыши-полевки, ящерицы. Вибрирующий свист выгонял всех из подземных убежищ, из гущи переплетенных стеблей. С жалобным писком, бросая гнезда, взлетали стрепеты и жаворонки, выбирались наверх ошеломленные слепышонки. Рыжая лисичка выскочила из норы, укрытой в кустарнике, заметалась, перепрыгнула через провод и была такова. Но большинство не рисковало, не могло рисковать, и люди знали это. Когда животные рискуют, то расстаются не с какой-нибудь вещью, не с жильем или работой, а просто с жизнью, которая у них одна только и есть. Поэтому мелочь предпочитает бежать от опасности, а не бросаться навстречу ей.

Травы запестрели насекомыми. Со стебля на стебель перескакивали зеленые кузнечики, черные полевые сверчки, желто-бурые кобылки. Воздух стал живым, движущимся, все миллионное, может быть миллиардное, население трех-четырёх квадратных километров степи отступало перед страшной неизвестностью.

Еще сузился круг. Люди смотрели себе под ноги, стараясь не наступить, не искалечить кого-нибудь...

Он уже выбивался из сил, сердце бешено билось, а звуки и великаны все наступали, и все теснее становилось вокруг. Страшный хищник хорек бросался то в одну сторону, то в другую, перескакивая через полевых мышей, своих обычных жертв. Он и в суслика вцепился бы и выгрыз горло, но не до того было.

Огромная желтая колонна, нога великана, возникла рядом. Он кинулся в самую гущу мохнатых перемещающихся тел, стараясь спрятаться, скрыться. Но сверху обрушилась огромная лапа, гигантские пальцы с жуткой силой обхватили туловище. Он почувствовал, что поднимается вверх. Земля провалилась, убежал в невидимую даль горизонт.

— Он! Он! — закричала Маша. — Наш Васик. Я его узнала.

Шофер Гриша держал отчаянно извивающегося суслика, старающегося укусьть.

— Точно он?

— Ну конечно же...

Кто-то выключил провод, все живое под ногами людей замерло на миг, потом застрекотало, зашуршало, запищало и кинулось радостно в свои розовые и фиолетовые страны.

Маша побежала в маленькую комнату у террасы, взяла за руку то существо, которое с вялой улыбкой сидело на постели, и повела в красный зал. Мальчика поставили под экран, туда же поместили и суслика, потом мальчика вывели.

Он сделал два шага уже как человек, взгляд его

стал осмысленным, испуганным. Осмотрелся, закусил губу, прижал руку к груди и с криком упал на подхватившие его руки.

Два часа собравшиеся на помощь сидели под окнами комнаты, где лежал мальчик. Мужчины, загорелые, сухопарые, помалкивали. Наконец мальчик открыл глаза. Маша сидела возле него, он потянулся к ней.

— Тетя Маша... Маша...

Под окном услышали эти слова, стали подниматься, прощаться. Крепко встряхивали руку Грише и Юрию Павловичу.

— До свиданья...

— Пока.

— Ничего. Поправится.

— Все будет в порядке.

Мальчику пришлось полежать неделю. Он был слаб, врач прописал постельный режим. Вечерами шли беседы с Юрием Павловичем.

— Дядь Юра, а как это получилось?

— Видишь ли, это трудно тебе объяснить. Еще мало знаешь... Одним словом, сейчас есть такой способ, сознание можно частично переключать. Твое сознание переключилось на Васику, а его частично на тебя. Перемена. Ты в течение нескольких часов как бы сопровождал суслика в его жизни, но сам в это время перестал быть полностью человеком. Оттого мы и испугались так. Понимаешь, что вышло бы, если б суслика схватил орел или если б он вообще потерялся. Тогда ту часть сознания не удалось бы вернуть...

— Значит, я был сусликом?

— Да. И ощущал мир, как ощущает он. Конечно, с небольшой поправкой... Понимаешь, каждое животное видит мир по-своему. И таких миров бесчисленное мно-

жество. У всего живого. У комара, у лисицы, у ласточки. И вот теперь люди подошли к тому, чтоб научиться видеть эти миры. Их столько, что целой жизни не хватит.

— А как экспедиция на Уран в этом году? Сорвалась из-за меня?

— Ничего. Орбиту пересчитают.

Дядя Юра встает, а мальчик спрашивает себя: погладит на этот раз по голове или нет? Ему так хочется, чтоб большая крепкая загорелая рука коснулась его волос.

Суслик тоже сидит на стуле рядом с постелью. Он привык к мальчику, прибегает, если позвать. Маленькие звери любят быть с человеком. С ним спокойно, с большим и сильным. И орел не схватит, и хорек не нападет.

Суслик ест яблоко, чистится. Мальчик смотрит на него, вспоминает радость при восходе солнца, розовые леса, глубокую долину с ручейком внизу, беззаботность и забывчивость.

Вот ты какой, зверек!

## ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ВДОХНОВЕНИЕ



— Суть моего открытия, — сказал Изобретатель, осторожно следуя за главным режиссером через груды закулисного хлама и волоча за собой тяжеленный металлический ящик, — состоит в том, что я исключаю из театрального дела такие устаревшие понятия, как вдохновение, талант и прочее. И вообще исключаю человека... Но прежде всего несколько слов об искусстве. Как вы знаете, искусство — это общение. В данном случае, то есть в театре, дистантное общение актера со зрителем.

— Знаю, знаю, — ответил главреж. Он мрачно уставился на задник от «Далей неоглядных», брошенный на зеленую лужайку из «Сержанта милиции». — Вот ведь народ, а? Сколько раз говорил, не собирать тут это барахло. Пожар будет, с кого спросят? — Он оглянулся на Изобретателя — Про искусство я все знаю. Слава богу, в институте только на этом и сидели. А вот как тридцать метров тюля достать для «Двух братьев», этому нас никто не учил. — Прервав себя, он покопался в груде декораций, вытащил оттуда кусок холста, выкрашенный ядовито-зеленым анилином, и подозрительно пригляделся к нему. — Что это?.. Нет, что это такое? — Он возвысил голос. — Эй, есть тут кто-нибудь?! — Он повернулся к Изобретателю. — Вы пони-



маете, что сделали: арку от «Марии Стюарт» разрезали.

Изобретатель деликатно промолчал. Ящик со множеством каких-то грубо сделанных переключателей он поставил на пол.

Из темных глубин помещения вышел гражданин в детском обтрепанном пиджачке, с руками, перемазанными краской. Запечатленная на его чертах повесть о более чем скромной зарплате, работе «на чистом энтузиазме» и отсутствии всех решительно необходимых материалов сразу выдавала в нем художника провинциального театра.

Гражданин дрожащим голосом объяснил:

— Я разрезал, Салтан Алексеевич. На драпри пришлось пустить. В «Бешеные деньги», в квартиру Чебоксаровых.

— Что-о! — Главреж побледнел, потом багрово покраснел. — У нас же «Мария» завтра в параллель идет. Вместе с «Бешеными». — Он повернулся к Изобретателю. — Ну как вам кажется, можно так работать или нет?

Физиономия Изобретателя была иссечена глубокими, как трещины в земной коре, морщинами. Его челюсть выдавалась вперед, а иссиня-черные, густые, провололочные волосы росли прямо от бровей. Однако, несмотря на свою неандертальскую внешность, он был мужчиной, вполне искушенным жизнью, и, сделав неопределенный жест, опять ускользнул от ответа.

Художник, переминаясь с ноги на ногу, сказал:

— Пришлось, Салтан Алексеевич. Зрители обижались. Я сам слышал, в антракте один говорит: «У Островского в ремарке сказано «богато обставленная гостиная». А тут не квартира Чебоксаровых, а ку-

рительная в кинотеатре...» Знаете сейчас народ какой. В «Марию» тогда серые ширмы из «Верю в тебя» поставим. Они свет хорошо принимают.

— Нет! — взвизгнул главреж. — Это, конечно, не жизнь. — Вторая фраза прозвучала у него в басовом ключе. — Сегодня же подаю заявление. Вы что, забыли, у нас «Верю в тебя» в триллель идет? — Трясущимися руками он похлопал по карманам, нашел скляночку с нитроглицерином, вынул таблетку, сунул в рот и, подойдя к низенькому подвальному окошку с мутными стеклами, оперся рукой о подоконник.

Художник — уж все к одному — откашлялся.

— И еще я вам хотел сказать, Салтан Алексеевич, что запасная линза у второго прожектора тоже лопнула. Перегрелась. И Смирнов, электрик, сегодня не вышел на работу. Он в первой ложе проводку начал и бросил. Как-то придется выкручиваться.

Главреж, не отвечая и не поворачиваясь, вяло махнул рукой.

За окном, на улице, текла не связанная с искусством периферийная жизнь. Девицы в нейлонах пробегали мимо древней — не то VI, не то XVI века — церкви. Возле дома-новостройки девочки прыгали со скакалками. По доисторическим бульжникам неторопливо шествовал на службу из столовой сотрудник райисполкома, и чудовищная, тихоокеанская ширина его запыленных по обшлагам брюк была вызовом всем новомодным веяниям. Шофер МАЗа, высунувшись из высокой кабины, гудком вызывал из какой-то квартиры свою милую.

И остро позавидовал главный режиссер всем им. Он понял, что вся его жизнь была сплошной ошибкой. И в ГИТИС он зря поступил, и женился неудачно — на женщине, которая до сих пор держится за столицу, и

в этот заштатный городишко напрасно согласился приехать, и здешней публикой не понят и до сих пор не признан. Вообще все было нехорошо и противно.

После этого главреж дважды глубоко вздохнул и без всякого перерыва подумал о том, что лично его работы зрители не так уж плохо принимают, что жена все равно приедет, что районные центры бывают и хуже, и ведь не в пожарный же техникум ему было поступать, если он так хорошо понимает и чувствует сцену.

Все это свершилось за две и две десятых секунды.

— Ладно, — сказал он, — действительно надо выкручиваться. Кстати, где у нас рыжий куст поролоновый? Помните, из «Гипротейтеатра» получили. Хочу его в первое действие пустить в «Бешеных деньгах».

— Не пойдет, — покачал головой художник, хорошо знакомый со способностью главных режиссеров к быстрой духовной регенерации. — Он позеленел. Знаете, как они быстро цвет меняют, эти пластики. Был осенний куст, а стал весенний.

— А второй куст?.. Тот, второй, зеленый. Может быть, он порыжел за это время. Подите-ка посмотрите. — Затем главреж резко повернулся к Изобретателю. — Ну, так что дальше? Объясняйте, я же вас слушаю.

Изобретатель шагнул вперед.

— Вы читали мою статью «Перцепция и аперцепция при ролевых играх детей дошкольного возраста»?

— Читал. В «Театральной жизни». Продолжайте.

— Нет, не в «Театральной», а в журнале «Вопросы дошкольного воспитания».

— Ну правильно. Я же и говорю, что читал. В этом самом «Воспитании». Еще в прошлом году. Давайте дальше.

— В прошлом году этого журнала не было. Впрочем, не важно...

Так вот, дело в том, что я рассматриваю театральное искусство с точки зрения электроволновой теории. С одной стороны актер, то есть индуктор, с другой — зритель, то есть перцепиент. Между ними осуществляется дистантная биорадиационная связь. Актер переживает и, следовательно, индуцирует энергию. Она попадает в головной мозг зрителя и вызывает там перегруппировку атомов, эмоцию. Улавливаете мою мысль?.. Таким образом, талантливый артист отличается от посредственного лишь особо активной индуцирующей деятельностью своих передающих электромагнитных мозговых устройств. Как по-вашему, что делала, например, со зрителями Элеонора Дузе?.. Ничего сверхъестественного — всего только вызывала перегруппировку атомов в ядре ганглиозных нервных клеток. Согласны вы со мной или нет?

Главреж, взор которого уже успел затуманиться за время длинной речи Изобретателя, подавив зевок, сказал:

— Вообще-то да... Значит, от пьесы ничего не зависит?

— От какой пьесы?

— От той, которую в этот момент ставят.

— Ах, от этой! — Изобретатель осекся на миг. — Конечно, зависит. Но в целом-то очень мало... Строго говоря, даже вообще ничего не зависит. Ведь в театре все дело в том, чтобы вызвать эмоцию у зрителя. Правильно? А раз так, значит, наша главная задача — увеличить мощность индуктора, усилить подачу энергии из головного мозга актера. Вот вам пример. — Он шагнул к режиссеру и взял его за руку. — Посмотрите мне

в глаза. Ощущаете вы что-нибудь? Сейчас я буду индуцировать

Главреж заглянул в маленькие пещерные глазки Изобретателя. Как-то ничего в них и не было.

— Нет. Н-не ощущаю.

— Прекрасно! — воскликнул Изобретатель. — Стойте так — Он поспешно отбежал в другой угол комнаты, вынул из кармана блокнотик, записал там что-то. Разыскал на стене штепсельную розетку. Кинулся к своему ящику, чем-то щелкнул, после чего аппарат тихонько загудел. — Так, внимание! — Он направил глазок аппарата чуть вверх на самого себя и выпрямился, воззрившись на собеседника.

Секунды текли. Главреж поднял руку и почесал кончик носа.

— Чудесно! — обрадовался Изобретатель. Он выключил машину, подбежал к режиссеру и показал ему блокнотик. Там значилось: «Почесать кончик носа».

— Ну вот.

— Что — вот?

— Ну, вы поняли?

— А что я должен был понять?

— Вот этот момент индукции. Понимаете, я представил себе, будто у меня чешется нос. Аппарат увеличил мощность переживания, и оно передалось вам. Но ведь задача актера и состоит в том, чтобы передать зрителю эмоции. Понимаете, биорадиационная связь. Принцип действия прибора состоит в том, что он интенсифицирует деятельность спиралей нуклеиновой кислоты в мозгу исполнителя. Эта спираль начинает играть роль передающей антенны и возбуждает соответствующие клетки и у зрителя. Ясно вам?.. Вот постойте так еще минуту.

Изобретатель вновь очутился в углу. Он действовал

с быстротой обезьяны. В аппарате зажегся красный глазок, потом еще желтый. Загудело сильнее. Изобретатель опять уставился на главрежа.

Что-то вдруг стало образовываться в комнате. Нависать. Запахло катастрофочкой. Все сделалось пустым и зыбким. Бесцельно вращалась Земля вокруг Солнца, безнадежно и ненужно бежали по своим кругам планеты. Шофер МАЗа за стеной все еще нажимал клаксон, но было очевидно, что никто к нему не выйдет. Безжалостные физические законы с каждым мигом скорее влекли Землю, Солнце и всю Галактику в самую глубину черных космических бездн, а оттуда, из дьявольских недр, уже неслась навстречу Антигалактика, чтоб в колоссальном взрыве прекратить все и вся. Не было даже смысла смотреть второй поролоновый куст. Мир шел к концу.

Главреж почувствовал, что у него на тыльной поверхности рук встают отдельно волосок от волоска. В горле у него остановилось что-то пухлое, дыхание стеснилось. Он ощущал себя на земле, как на разваливающемся плоту, несущемся к водопаду. Хотелось закричать, убежать, но он не мог шевельнуться.

— Страх, — сказал Изобретатель. — Теперь я индуцировал страх. — Он нагнулся и выключил аппарат.

Почти сразу на улице раздался радостный басистый вопль:

— Манюра!

Чьи-то быстрые туфельки пробежали мимо низкого окна. МАЗ весело взревел, зашуршали шины, могучая машина, тронувшись с места, укатила по булыжнику прочь.

Солнце ломилось в комнату сквозь пыльные разводы на стеклах. Победно топорщились огромные кровельные

листья лопухов. Все было в порядке. Очарование кончилось.

— Понимаете, — засуетился Изобретатель, — я сам переживал только вот такой страх — Он показал пальцами. — А аппарат усилил эмоцию и передал ее вам. Но дело не только в этом. Второе в моем открытии — это то, что все элементы актерского мастерства я перевожу на язык электростатики и электродинамики. Органичность, общение, обаяние — для меня радио, электричество, и ничего больше. Если вы читали мою статью «Перцепция и аперцепция при ролевых...»...

— Знаете что, — главреж вдруг разозлился, — вы мне бросьте баки забивать с этой перпе... Как ее там? Одним словом, с этой самой. Вы прямо скажите, что вы можете для нас сделать и что вам нужно, чтоб это сделать. Думаете, у меня время есть выслушивать ваши теории?

— Актера, — проникновенно сказал Изобретатель. — Или актрису. Самую плохую вашу творческую единицу. И она так сыграет роль, что все попадают.

— С этого и надо было начинать. Я вам сейчас хотя бы Заднепровскую покажу. Мы ей недавно тарифную ставку снизили, теперь сами не рады. И к прокурору уже ходила и в райисполком. Идемте наверх. Она как раз должна быть на репетиции. Ящик можете оставить здесь.

В репетиционной комнате, где благодаря какому-то архитектурному чуду и зимой и летом сохранялась ровная температура в ноль градусов Цельсия, разводили пьесу местного автора.

Главреж и его спутник вошли. Дрожь прокатилась по синим от холода актерским физиономиям при появлении грозного вождя, а затем шесть пар глаз повер-

нулись в сторону Изобретателя и выразили одно и то же: «Кто этот человек? Не изменит ли он что-нибудь в моей судьбе? Не поможет ли вырваться из этой дыры?» Но главреж сразу погасил все вспыхнувшие было надежды.

— Товарищ Бабашкин из «Гипротейатра». Приехал посмотреть нашу осветительную аппаратуру. — Он показал Изобретателю на стул. — Посидите, а потом мы с вами займемся... Продолжайте, пожалуйста, Борис Генрихович.

Очередной режиссер, Борис Генрихович, — он тоже слегка побледнел, увидев главного, — сделал знак, и репетиция возобновилась.

Герой-любownik, рослый фактурный мужчина с театрально-энергичным лицом и синими глазами, вошел в огороженное стульями пространство, долженствовавшее изображать колхозную избу, и уселся к столу.

В пространство вошел отрицательный персонаж.

— Приветствую, товарищи.

— Камень наскоком и то не сдвинешь. А он хочет все сразу... Здравствуйте.

— Нет, это не вы говорите «здравствуйте», — поправил очередной режиссер.

— А кто говорит?

— Действительно, кто же говорит теперь «здравствуйте»?

Инженю-кокет, сидевшая в полном оцепенении с момента, когда вошел главный, очнулась:

— Ах, это я говорю! Простите, пожалуйста... Впрочем, нет. У меня тут тоже вычеркнуто. Вот посмотрите...

И в таком духе. Местный автор — он сидел тут же — нервно забарабанил пальцами по колену, и губы его скривились в саркастической усмешке непризнанного ге-



ния. Он передернул плечами, отчего перхоть тучкой сошла с его длинной шевелюры, опорошив ворот габардинового пиджака. В течение трех сезонов местный автор — он, как известно, всегда является заведомо культурой в местной газете — донимал театр статьями с угрожающими заголовками: «В стороне от жизни», «Без компаса», «Без творческого огонька». Он желал стать драматургом, чего бы это ни стоило зрителям, и привлек на свою сторону райисполком, многочисленные собрания трудящихся и даже начальника местного гарнизона. Появление его самого здесь, в замороженной репетиционной, было заключительным этапом великой борьбы.

Но «местная пьеса», не соотнесенная со сценическими законами и вообще ни с чем на свете, никак не складывалась во что-либо удобоваримое. Назревал очередной скандалчик.

— Не советуешься ты с людьми, Петр Петрович, — говорил отрицательный персонаж. — Отрываешь себя от коллектива.

— Я... Одну минутку, товарищи. Вот тут опять затруднение. Я ведь в третьей картине советовался. И со старым колхозником Михеичем советовался, и со старым колхозником Пахомычем. Опять эта реплика идет вразрез с третьей картиной. Может быть, тоже вычеркнуть, Борис Генрихович?

— Ну давайте вычеркнем.

— Но, с другой стороны, что же мне тогда вообще говорить — уже столько вычеркнули? С чего я волноваться начну?

— А ты скажи «здравствуйте» и потом сразу давай выхлест.

— Так это же не я говорю «здравствуйте»! — Герой-любовник покраснел, затем побледнел. Он повернулся

к главрежу. — Нет, Салтан Алексеевич, так не пойдет. Я рад, что вы зашли и сами все видите. Это черт знает что! Я с самого начала предупреждал, что с пьесой у нас ничего не получится.

Он вскочил, схватился за сердце, открыл скляночку с нитроглицерином, вынул таблетку и сунул в рот. Затем стал у окна, отвернувшись от присутствующих, спина у него вздрагивала. В нитроглицериновой мизансцене ощущалось явное влияние главного режиссера — это был стиль театра. И в полном соответствии с методом физических действий по Станиславскому у героя-любownika, еще недавно здорового мужчины, уже начались процессы в сердце, сужалась аорта и деревенела, огрубевая, стенка левого предсердия.

Наступило тягостное молчание. Местный автор еще энергичнее забарабанил пальцами по колену.

— Ну ладно, — сказал главреж, который не любил сердечных припадков у других, — этот вопрос мы обсудим позже. Сейчас я хотел бы посмотреть, Борис Генрихович, как у вас идет картина шестая, когда жена приезжает.

Задвигались стулья. Актриса Заднепровская, сорокалетняя задерганная дамочка с кудряшками, испуганно глянула на главрежа, вспорхнула с места и стала у двери. Герой-любовник дважды глубоко вздохнул у окна, потом, входя в роль, мотнул головой, как бы бодая кого-то.

— Приехала, Маша. Ну, здравствуй, здравствуй.

Неся на лице пошло-жеманное выражение эстрадной певицы, которая собирается исполнить песню о чем-то трогательном, Заднепровская кошечкой скользнула к супругу и пискнула:

— Здравствуй, Петя. Как давно я тебя не видала.

Очередной поднял руку:

— Минуточку!.. Вера Васильевна, дорогая, куда вы даете реплику? У вас же реплика поверх волос идет. И потом... — Он оглянулся на главного. — Вы же не в тон отвечаете. Он в среднем регистре, а вы в самом верхнем.

Лицо Заднепровской вспыхнуло красными пятнами.

— Сейчас.

Она вернулась к двери. Герой-любownik тяжело, как поднимая гирию, начал опять:

— Приехала, Маша...

Заднепровская — теперь уже не кошечка, а женщина-судья, выносящая смертный приговор, — гренадерским шагом подошла к партнеру и похоронным басом бросила ему в ноги:

— Здравствуй, Петя.

Теперь вскочил главреж.

— Вера Васильевна, ведь вы волнуетесь в этот момент, верно? Должны волноваться, черт побери!

Кругом все затрепетали.

Красные пятна еще сильнее зарделись на лице актрисы. На глазах у нее выступили слезы, но она быстро подавила их.

— Да, волнуюсь.

— Но как же вы не замечаете, что волнуетесь только по пояс? Лицо волнуется, руки волнуются, а нога вот так отставлена.

— Сейчас.

Заднепровская сглотнула и пошла к двери.

— Ну, как? — спросил главреж, когда они вышли из репетиционной.

— Красота, — восхищенно сказал Изобретатель. — Как раз то, что нужно.

— Понимаете, у нее в распоряжении двадцать пять штампов. Не нравится один, она дает другой.

— Самое интересное, — задумчиво начал Изобретатель, — что все, что звучит у вас как «штамп», «не в тон» и так далее, имеет для меня вполне отчетливую электрорадиационную подоплеку. Вы говорите «штамп», а я вижу в этом потери на конденсаторный гистерезис в нейтронных контактах головного мозга. Вы говорите — «не в образе», а для меня это означает, что в оболочке ганглиев у нее слишком долго остается ненужное уже напряжение. Своим аппаратом я все это регулирую, и... — Он глянул на главрежа и прервал себя: — Одним словом, я вам из нее Пашенную сделаю. Весь город с ума сойдет.

— Да какая там Пашенная! Вы добейтесь, чтоб из ансамбля не выпирала. Не портила хоть. — Главреж положил вдруг руку на сердце. — Тыфу, дьявольщина! Опять защемило. Ей-богу, мы тут все до инфаркта дойдем. Но, с другой стороны, как быть спокойным? А?.. Вот опять весь спектакль буду сидеть за кулисами, накручивать. Иначе они вообще мышей ловить перестанут.

— Ничего, — сказал Изобретатель. — В чем у вас сегодня Заднепровская, в «Бешеных деньгах»? Ну и отлично. Об этой роли в Москве писать будут, из ВТО к вам приедут, вот увидите. У меня все научно обосновано. Не читали мою статью в «Театральной жизни»?

— Читал. — Главреж уже снова вытащил из груды хлама какой-то кусок холста. — То есть проглядывал. А этот ваш ящик на каком расстоянии нужно устанавливать от актрисы?

— Непринципиально, — ответил Изобретатель. — Установка действует в радиусе до двадцати пяти метров.

Перед самым началом вечернего спектакля, когда уже прозвенел третий звонок, Изобретатель — он установил машину в первой ложе — выскочил в коридор.

— Салтан Алексеевич, хорошо бы ее как-нибудь успокоить перед выходом на сцену. Понимаете, создать момент торможения на внешние обстоятельства.

— Кого? — остервенело оглянулся главреж.

— Ну Заднепровскую. А то и аппарат не подействует... Научно-медицинский факт — она должна быть в спокойном состоянии.

Главреж воздел руки к небу. Из рта у него хвостиком торчала прозрачная пластиковая кожица колбасы.

— Слушайте, вы меня оставите когда-нибудь в покое?! У нас для второго действия еще декорации нет.

Островскому горожане доверяли, и поэтому на «Бешеных деньгах» даже без войсковых частей получился полный зал. Первые три явления прошли гладко. Заслуженный артист Коровин — он играл Телятева — держался с органичностью прирожденного аристократического лентяя. Герой-любовник — надежда и гордость районной сцены — уже оправился от скандальчика в репетиционной и в роли Василькова честно завоевывал публику взглядом синих наивных глаз. Уже начинало вериться, будто середину двадцатого века сменила вторая половина девятнадцатого, и даже странный, фиолетового цвета поролоновый куст из «Гипротейатра» на сцене не очень пугал своей неестественностью.

Но вот в четвертом явлении вышла Заднепровская — она играла Надежду Антоновну Чебоксарову, — и тотчас все начало разваливаться.

— Познакомь, — деревянно сказала Заднепровская-Чебоксарова шалопаю Телятеву. — Да ведь ты дрянь, тебе верить нельзя.

Это как вилкой по тарелке заскребло, и всем в зале сделалось стыдно от фальши.

В первом ряду по контрамарке сидел «местный автор». Он закинул ногу на ногу и с удовольствием представил себе разгромную статью, которую собирался написать по поводу очередной постановки театра. В трех рядах позади него театральный художник думал о том, как будет выглядеть квартира Чебоксаровых во втором действии. Холщовые драпри вызывали у него чувство тревоги. Он поежился в своем обтрепанном пиджачке и непроизвольно громко вздохнул, вызвав неодобрительный взгляд со стороны сидевшего рядом и знакомого ему сотрудника райисполкома.

Изобретатель тем временем приготавливал в ложе свой аппарат. Он повернул какой-то переключатель, отчего в машине зажегся желтый огонек, включил шнур в штепсельную розетку и, бормоча что-то про себя, принялся колдовать над кнопками.

А Заднепровская-Чебоксарова продолжала свирепствовать. Ее реплики звучали, как у начинающей участницы самодеятельности. Отговорив свое, она застывала, подобно солянному столбу.

— Ничего не чувствует, — вдруг засопел пробравшийся в ложу главреж. — Видите, руку на сердце положила и считает, что выразила заинтересованность. Но это только механический знак отсутствующего переживания. Внутри-то пусто.

Изобретатель кивнул.

— А вы ее успокоили хоть?

Главный смотрел на сцену. Он покачал головой, закусив губу.

— Что вы говорите?.. Насчет успокоить. Я с ней говорил перед выходом. С сыном у нее, кажется, не-

давно что-то произошло. То ли его из школы выгнали, не знаю. Короче, я к ней подошел и спросил, как у нее с сыном. Она почему-то покраснела.

— Ничего, сделаем, — сказал Изобретатель. — Хотя что-нибудь она чувствует, и я это усилию. — Он прицелился аппаратом, нажал какую-то кнопку.

И тотчас Заднепровская сделалась приличнее. В голосе у нее зазвучали задушевные нотки. Слова: «Как жаль, что он так неразумно тратит деньги» — она произнесла с чувством почти искренним.

Изобретатель ни на минуту не выпускал актрису из сферы действия аппарата. Во втором акте его усилия стали приносить заметные плоды. Началась сцена Чебоксаровой с Кучумовым, и подлинный испуг перед бедностью почувствовался в том, как заговорила пожилая глупая барынька с разорившимся князьком.

Зрительный зал притих, смолкло начавшееся сперва досадное для актеров покашливание. В паузах между репликами было слышно, как верещат прожекторы, освещающие гостиную Чебоксаровых с зелеными, взятыми из «Марии Стюарт» драпри. Местный автор сбросил ногу с ноги. Он с неудовольствием ощущал, что, несмотря на явную несовершенство, происходящее на сцене против воли заинтересовывает его.

— Не знаю, — говорила Заднепровская-Чебоксарова о Василькове. — Знаю, что он дворянин, прилично держит себя.

Главреж опять наклонился к Изобретателю.

— Общения нет, понимаете... Свое собственное состояние играет, а не логику действия. Из себя исходит, а не из того, что на сцене делается.

Изобретатель, на узком, обезьяньем лбу которого

уже выступили бисерные капельки пота, посмотрел на главного.

— Нажать на общение?

— Ну да. Актер должен помнить, что подает не реплику, а мысль. Если он что-то спрашивает, это не выражение самочувствия, а желание что-то узнать.

Изобретатель задумался, возведя глазки к небу, затем лицо его просветлело.

— Добавлю ей напряжения на окончания ганглиев.

Он повертел что-то в аппарате, и, подчинясь его электрической команде, Заднепровская с таким живым интересом спросила у Кучумова, сможет ли она еще увидеть его, что даже художник в зале забыл на миг о холщовых драпри и последней линзе в прожекторе. Зашел и застыл у дверей ленивый, случайно заглянувший в зал пожарник.

— Н-неплохо, — прошептал режиссер удивленно. — Но вот смену ритмов. Однообразно она слишком держится. С Кучумовым в одном ритме говорила и вот сейчас с Васильковым.

Изобретатель кивнул, маневрируя аппаратом. Во время шестого явления, когда Заднепровской не было на сцене, главреж побежал за кулисы и скоро вернулся.

— Знаете, актриса беспокоится. Спрашивает, почему вы в нее какой-то штукой все прицеливаетесь. Я сказал, что это киноаппарат. Вам, мол, она нравится, и вы решили ее в Москве показать. Сам я ее тоже похвалил. Зря, наверное, а?

— Теперь уже не имеет значения, — ответил Изобретатель. — Раз она в спокойном состоянии, я за все ручаюсь.

— Да, насчет сына, — вспомнив, зашептал режиссер. — Оказывается, у нее сын в девятом классе и пер-



вое место занял на какой-то математической олимпиаде. Так что даже удачно получилось, что я ее спросил тогда.

— Интересно, — сказал Изобретатель, — что ведь на самом-то деле она играет, как играла. Но аппарат усиливает ее мизерные эмоции и создает впечатление хорошей исполнительницы. — Он ласково погладил свою машину по серой крашеной жестяной стенке. — А ведь никто не верит, никто не поддерживает. Они там, в Министерстве культуры, еще до сих пор в восемнадцатом веке живут. Только одно и признают: «Человек, талант, актер, пьеса...» А при чем тут человек? Сегодня наука позволяет антенну на сцене поставить, чтоб индуцировала, и еще лучше будет...

После антракта, когда горожане полакомились в буфете ложношоколадными конфетами «Чайка», поднялся занавес и зрители увидели, как переменялась Надежда Антоновна Чебоксарова. Какая-то тревога и вместе с тем внутренняя собранность появились в ней.

— Зачем вы обманули нас так жестоко? — спрашивала она у Василькова, и у всех в зале сердце стеснило предчувствием неминуемой беды. — Того, что вы называете состоянием, действительно довольно для холостого человека; этого состояния ему хватит на перчатки. Что же вы сделали с моей бедной Лидией?

И зрителям как-то жутко стало от того, что на самом деле станет теперь с молодой красавицей.

Действие текло, отчаивался влюбленный Васильков, интриговала бездушная Лидия, шутил Телятев. Но постепенно центральной ролью пьесы начала делаться Чебоксарова-старшая в исполнении Заднепровской. Растерявшаяся, недалекая, неумная Надежда Антоновна стала отважной матерью, защищающей свое, хоть и пустое,

вздорное дитя, и властно взяла события спектакля в слабые руки. Какой-то величественно-трагический оттенок приобрели ее реденькие кудряшки, жеманная претензия появилась в барственных и одновременно жалких жестах. Сказав дочери, что Васильков беден, она так посмотрела в публику, что стон прошел по рядам, каждый зритель счастливо переглянулся с соседом и уселся поудобнее в кресле, чтоб смотреть дальше.

Изобретатель действовал, подобно опытному телевизионному оператору, ни на минуту не выпускающему из поля зрения мяч во время футбольного матча. Он работал руками, ногами и головой, одновременно вертел по два, по три переключателя, нажимал лбом и коленом какие-то кнопки, нацеливаясь на Заднепровскую тотчас, как она показывалась из-за кулис.

И актриса уже творила чудеса. Взгляд, жест — все было исполнено значения. В каждой ее реплике возникали и рассыпались миры. Исподволь входила в театр развеселая дворянская эпоха, вставали белоколонные усадьбы над морем колосащейся ржи, бравые усачи скакали охотой, брызгало пенное шампанское, в паркетных залах лакеи зажигали свечи, и маленькая ножка бежала в вальсе. Входила... и рушилась. Разламывалась под натиском практичных купцов Васильковых. Зарастали аллеи в парках, жимолость и ольха забивали брошенные клумбы, гасли и чадили свечи, а бравый усач, промотав последнее наследственное, отсылал семью в город, сам принимаясь под обветшалыми колоннами варить кумыс или сапожный крем.

Зрительный зал подтянулся. Он чувствовал себя свидетелем и участником великого разлома времен, движения истории.

— Отлично, отлично, — сопел главреж над ухом

Изобретателя. — Все есть. Вот только если органики еще немножко прибавить. Чуть-чуть.

— Органики? — гордо спросил Изобретатель. Он был уже совсем мокрый. — А хотите, я сделаю так, что актриса вообще забудет, что она на сцене?

Он приткнулся к аппарату, что-то подвернул, чем-то щелкнул. Звонко пролетел щелчок над головами зрителей, и мгновением позже Заднепровская косо пересекла сцену и вышла вперед.

У главрежа сжалось в груди. Он чуть не вскрикнул, потому что, ступи Заднепровская на сантиметр дальше, она упала бы вниз, в оркестр. Но актриса и не заметила этого. Казалось, у нее действительно потерялось ощущение, где она и что.

Она заговорила быстро-быстро:

— Что я терплю! Как я страдаю! Вы знаете мою жизнь в молодости, теперь при одном воспоминании у меня делаются припадки. Я бы уехала с Лидией к мужу, но он пишет, чтоб мы не ездили.

Она смерила взглядом Кучумова, себя, губы у нее дрогнули, она пусто посмотрела в зал. Зрители ахнули, всем сделалось горько, но вместе с тем и освобождающе счастливо от соприкосновения с высокой красотой правды в искусстве.

Местный автор неловко передвинулся в своем кресле. В свете происходящего он вдруг с ужасающей ясностью увидел, какова была на самом деле его собственная «производственная» пьеса. Он сжал руки, затем разжал их. Все тело у него тосковало. Ему хотелось что-то в себе переменить, начать жить по-другому, действовать немедленно, сейчас же.

Театральный художник выпрямился и развернул узкие плечи. Забылись и обтрепанный пиджачок, и вечные

нехватки необходимого. С почтением на него, как на причастного, глянул сотрудник райисполкома.

— Узнают теперь Бабашкина, — бормотал Изобретатель в ложе. — Я им такие сборы дам по стране, закупаются. Все театральное дело реорганизирую.

Однако подлинный триумф ожидал его в последнем действии. Главреж молчал, чтоб не мешать. Невидимые энергетические нити, не прерываясь ни на секунду, связывали Заднепровскую с хитрой машиной, и актриса гипнотизировала зал даже просто одним своим присутствием на сцене.

Но и другие актеры тоже поднялись. К принципиально новой трактовке роли потянулся герой-любовник, играющий Василькова. Он чувствовал, что в конечной инстанции не он Лидию заставит жить по расчёту, а, наоборот, старшая Чебоксарова с дочерью покажут ему, что такое настоящий бесчеловечный и безжалостный бюджет. Его обманули и предали, многое перегорело у него в душе, из хищника он сделался жертвой, а потом снова стал победителем, но уже другим, суховатым и циничным. Герой-любовник творил бесстрашно, все шло в каких-то слаженных, несущих ритмах, у него перестало болеть сердце, начала расширяться аорта, и гибче делалась стенка левого предсердия.

Зал заворуженно затих. Свершалось таинство на сцене. Живыми сделались нарисованные морщины, приросли наклеенные усы и эспаньолки, а зеленые драпри — дырявый, как сито, кусок холста, покрашенный разьедающим анилином, — стали средоточием порока, обличали и намекали на грядущее возмездие.

Привалившись к косяку дверей, застыли капелъдинеры. Грумер, портной и рабочие сцены сгрудились в проходах кулис. Уже успокоился местный автор, и первая

в его жизни хорошая рецензия на спектакль складывалась у него в голове.

Тишина стояла на улице возле театра. Спали под звездами древние луковичные купола церкви XV века и гигантский уэллсовский марсианин — строительный кран. В глубинах космоса плыли бессчетные миры-планеты, бесновались огромные массы раскаленной материи, и в целой вселенной не было места лучше, чем маленький городок с его районным театром, сразу ставшим наравне со всем прекрасным, что сделано людьми и что есть в мироздании вообще.

Последнее усилие под руководством аппарата Заднепровская сделала в немой сцене. Уже сказал свое Телятев, уже он обнялся с Кучумовым, Лидия подошла к Василькову и робко приникла к нему.

Надежда Антоновна как-то кашлянула и поперхнулась, сосредоточив на себе внимание зала, подняла руку, желая поправить и прическу и что-то гораздо большее, а затем бросила ее бессильно, закончив собственную бездумную жизнь, и целый период жизни русской, и спектакль.

С треском лопнула последняя запасная линза, но зрители восприняли это как часть режиссерского замысла. Минуту стояла тишина, потом сорвался шторм, какого не знала еще районная сцена. С покрасневшими лицами, выкрикивая «бис!» и отбивая ладони, переглядывались горожане. Актеры, сразу ставшие усталыми, кланялись и кланялись, выдвигая вперед Заднепровскую.

Главреж выбежал, затем при стихающем наконец грохоте аплодисментов ворвался опять в первую ложу.

— Замечательно! Великолепно! Вы гений.

У Изобретателя был крайне озадаченный вид.

— Что замечательно?

— То, что вы сделали. Как она играла! Колоссальный успех.

— Ерунда, — сказал Изобретатель с неожиданной злобой. Он держал в руке провод от своей машины с вилкой на конце. — Ничего не вышло, все это собачья ерунда. — Он шагнул к штепсельной вилке на стене ложи, ожесточенно дернул ее и оторвал совсем. — Тут же проводки нет. Она ни к чему не присоединяется. У вас в театре не монтер, а жулик. Аппарат не работал, понимаете?

— Неужели? — удивился главреж. — Монтер у нас, правда, пропойца... Но вот у вас тут зеленый огонек горит. И желтый.

— Так это от батарейки. Я вам говорю, что сам прибор даже не был включен. А батарейка от карманного фонаря. Для солидности. Чтоб на вас таких производить впечатление. Никто ж не поверит, что у меня электроника, если зеленого огонька нет. — Он отошел в сторону, высморкался и почему-то вытер платком глаза. — Всегда что-нибудь помешает чисто провести опыт. Каждый раз вот так срывается... Но вы-то поняли, что аппарат действует в принципе? Когда я на вас наводил, вы же чувствовали?

— Да-да. Конечно, — отмахнулся главреж. — Значит, машина не работала. Но почему же тогда...

Он глубоко задумался.



В кафе было пустовато.

Мы съели закуску в молчании. Потом официантка в красном платье принесла первое. Она поставила тарелки на стол с таким видом, будто боялась обжечься о его пластиковую поверхность, и тотчас удалилась, бросив испуганный взгляд на сидевшего напротив меня лысого субъекта. И кассирша в белом кокошнике тоже смотрела на него из-за кассы, как на тигра.

— Боятся, — самодовольно сказал субъект, погружая ложку в суп.

— Кого? — спросил я и огляделся.

Он ухмыльнулся, как-то косо глядя в сторону.

— Вот увидите, какой будет обед. Вы здесь еще такого не ели.

На нем был потасканный сизый пиджак из того польского материала, который удивительно хорошо и празднично выглядит все первые три дня носки. Лысину его покрывала поросль белесого пуха, создавая вокруг головы нежное сияние. Через темя и лоб шла длинная тоненькая полоска тускло-розового цвета, напоминающая старую царяпину.

Я тоже взялся за ложку. Тут мой взгляд случайно упал на зеркало, и я увидел в нем, что сзади какой-то

гражданин с вытаращенными глазами высунулся из-за портьеры, скрывающей вход во внутреннее помещение, и с тревогой смотрит на моего визави. Судя по багровой физиономии, это был директор кафе. Он обменялся с официанткой многозначительным взглядом.

Мой сосед в сизом пиджаке тоже как-то ощутил появление вытаращенного гражданина, хотя и не смотрел в ту сторону.

— Знают меня здесь, — сообщил он. — Я тут в любое кафе приду, и мне нигде вчерашних котлет не подадут... Ну как суп?

А суп-то был удивительный. Сверхъестественный. В первый момент я даже себе не поверил. А после трех ложек другими глазами оглядел зал кафе с зеркалами, портьерами на дверях и на окнах, чуть погруженный во мрак из-за этих самых портьер. Работают же люди! При таком супе было непонятно, почему слава о директоре не гремит по градам и весям нашей страны, отчего не светят здесь «юпитерами» телевизионщики и почему шеф-повар не дает интервью в «Неделе». Уникальный рисовый суп на мясном отваре, поданный на подогретой тарелке, тающий во рту, усваивающийся тут же внутренней поверхностью щек и языком, сразу без промежуточных ступеней переходящий в энергию и хорошее настроение. Суп, напоминающийся, подобно кинофильму на фестивале.

— Поразительно! — воскликнул я. — Никогда не думал, что тут...

Субъект прервал меня, вяло махнув рукой. У него были блеклые серые глаза и какой-то несосредоточенный взгляд.

— Что вы заказали на второе?.. Битки в сметане? Тогда я тоже перезакажу.



Он сделал знак красному платью и заявил, что передумал насчет бифштекса. Пусть ему принесут тоже битки. Официантка восприняла эту мысль без энтузиазма, но и без скандала. Еще раз последовал безмолвный разговор с директором, и красное платье удалилось на кухню.

Мой сосед склонился над тарелкой, потом поднял голову и усмехнулся. Ему явно хотелось поговорить.

— Слышали когда-нибудь об операции, сделанной доцентом Петренко? Одно время об этом было много разговоров. Теперь это так и называется — «сечение Петренко».

— Гм... В общих чертах, — сказал я. — Напомните.

— Дело было так, — начал он. — Весной сорок шестого года один молодой человек гнал на трофейном мотоцикле по Садовому кольцу. В районе Колхозной площади. Перед тем как сесть за руль, он подпил с приятелями, в голове у него шумело. Сами знаете, как тогда было после войны. Ну и попадаетея ему грузовик, с которого с задней части кузова почти до земли свисают доски. Да еще какая-то старушонка перебежала дорогу. Одним словом, юноша зазевался, на скорости километров в девяносто въехал по этим доскам на кузов, увидел перед собой заднюю стенку кабины, отвернул в сторону, пролетел метров тридцать по воздуху и рухнул прямо во двор института Склифосовского. Мотоцикл вдребезги, а у юноши начисто снесло всю верхнюю половину черепа вместе с мозгом. Ровнехонько, знаете, как по линейке. Тут его, конечно, сразу подхватывают — и на второй этаж, в операционную. Положили на стол, видят, такое дело. Дежурным врачом был тогда как раз Петренко. Другой бы наверняка отказался, но Петренко мужик решительный, да еще фронтовой запал у него

не прошел. Он хватает эту верхнюю половину черепа — ее тоже принесли — и прикладывает на место. Противошоковый укол, наркоз, швы, переливание крови. Сам не отходит от этого молодого человека десять суток, и, подумать только, все видят, что операция удалась. Проходит месяц, юноша начинает поправляться, и тут выясняется, что в спешке ему повернули мозг на сто восемьдесят градусов. «Право» и «лево» поменялись местами, затылочная доля мозга оказывается впереди, лобная сзади — в таком духе. Покрутились-покрутились, а что делать? Отламывать опять череп и заживлять — на такой риск врач вообще может пойти только раз в жизни. Подумали и решили — пусть так и будет. И представьте себе, — тут мой собеседник умолк на мгновение и тщеславно посмотрел на меня, — представьте себе, что этот юноша — я.

Он заметил мой недоуменный взгляд и поправился: — То есть это был я. С тех пор прошел уже двадцать один год.

— Непостижимо! — на миг я даже забыл про суп. — И как вы себя чувствуете?

— Ничего, — сказал субъект. — Ничего. Но было, естественно, много явлений.

Мы теперь доели суп, и нужно было ждать второе, с которым официантка почему-то не очень торопилась.

— Много странных явлений, — повторил он задумчиво. — Самое интересное состоит в том, что всё перепуталось. Получилось так, что глазной нерв, например, подключился к слуховому отделу. А слуховой, наоборот, попал в глазной отдел. Понимаете, там, в коре головного мозга, есть специальные анализаторы для звука, света, запаха. И к ним подходят нервы. Но у меня из-за того, что мозг прирос наоборот, многое поменя-

лось местами. А некоторые чувства просто вросли одно в другое.

— Как это?.. Неужели это дает какую-то разницу? — спросил я. — Разве звук не остается все равно звуком, куда бы он ни попал? А свет — светом?

— В том-то и дело, что нет. — Мой собеседник покачал головой и улыбнулся с видом превосходства. — Вообще-то многие думают, что мозг напоминает телефонную станцию: что передаешь, то и получают. На самом деле не так. В мозгу все зависит от того, куда, в какую часть коркового слоя попадает раздражение. Например, давление может превратиться в свет. Надавите, скажем, в полной темноте на свой глаз. Вы увидите вспышку света, хотя на самом деле ничего такого не было. Понимаете?.. Глаз-то улавливает именно свет, а ухо — звук. Но уже по нервным волокнам все идет в виде одинаковых нервных импульсов, верно же? И только от того, в какую область эти импульсы попадают, зависит то, что вы чувствуете.

— Да-а, — протянул я, не зная, что сказать.

Тут официантка как раз принесла второе, с прежней испуганной осторожностью поставив тарелки на стол. И второе — битки в сметане — тоже было удивительным. Ошеломляющим. Откидывающим человека к тем временам, когда он, слава богу, не знал еще никаких столовых, а пользовался кулинарными изделиями собственной бабушки. Феноменальные битки с целым букетом вкусовых ощущений от поджаренности до мягкой тепловатой кровавости где-то там в серединке. Терпкие и нежные, хрустящие и тающие.

Умиротворенно думалось о том, что вот мы уже решили проблему общественного питания и можно браться за что-то, следующее дальше.

Но снова пугающе необъяснимыми были при таких битках и отсутствие очереди у дверей кафе, и то, что на лицах посетителей за другими столиками отнюдь не выражалось восторга.

Мой сосед покончил со вторым — он, между прочим, держал вилку левой рукой — и задумался. Затем он вынул из кармана портсигар и закурил.

— Вот теперь попробуйте представить себе, — сказал он, — положение человека, у которого все так перемешалось. Например, если вкусовой нерв, идущий от кончика языка, попадет у него не во вкусовую, а в болевую центр. Что тогда получается? Он берет в рот кусок колбасы и вместо того, чтобы почувствовать вкус «отдельной» или там «полтавской», ощущает сильную боль в пятках. А если у него вкус перепутался со слухом, то он откусывает бутерброд и вдруг слышит страшный грохот.

— Неужели у вас так было? — спросил я.

Он кивнул.

— Да. Спуталось решительно все. Чувства поменялись местами. Вместо того чтобы обонять, я ощущаю. А вкусовые ощущения перемешались с болевыми. Например, когда в битки кладут не масло, а маргарин, мне больно.

— Но позвольте! Разве боль — это какое-то отдельное чувство? По-моему, она, так сказать, продолжение ощущения.

Субъект покачал головой.

— Ощущение — одно, а боль — совсем другое. У болевого аппарата свои внешние концевые органы с независимыми проводниками и отдельным центром в мозгу. Боль скорее можно было бы назвать шестым чувством... И так как у меня вкусовой нерв пошел в бо-

левую корковую область, я от всякой еды ощущаю боль. Но очень разнообразную, конечно.

— И как же вы теперь?

— Привык, — он пожал плечами. — Боль мне даже стала нравиться. Особенно зубная. Я ее, кстати, чувствую, когда ем паюсную икру... Вообще, у меня теперь довольно большой диапазон вкуса. Нормально-то ведь мы воспринимаем языком всего ничего: кислое, сладкое, горькое, соленое и комбинации из них. А болевые ощущения могут быть очень разнообразными.

— Ну хорошо. А с настоящей болью? Если у вас дырка в зубе?

— Тогда я чувствую на языке вкус паюсной икры — он теперь для меня очень неприятен — и бегу брать номерок к зубному. — Он опять задумался. — Интересно также со зрением и слухом. Понимаете, от звуков у меня возникают в мозгу зрительные образы, а от света — звуковые. Я, например, могу закрыть глаза и видеть. Могу заткнуть уши и слышать... Но при этом, конечно, я ничего не увижу.

— То есть, — сказал я, — если вы закроете глаза, то будете не то чтобы не видеть, а только не слышать?

— Да, факт. А если заткну уши, то не буду слышать. То есть не буду видеть. Но для всех других это будет означать, что я не слышу. Точнее, не вижу.

Тут мы оба немного запутались.

— Во всяком случае, — резюмировал он, — у меня все наоборот. Например, сон. Во сне я ничего не слышу, потому что закрыты глаза. Для меня ночью всегда тихо. Но постоянно что-нибудь вижу — как часы в комнате тикают, как соседи над головой танцуют. Одним словом, я исключение.

Эти последние слова прозвучали весьма тщеславно.

Официантка принесла кофе. Превосходный кофе, ароматный и крепкий, который вот так запросто только в Стамбуле, пожалуй, и получишь. Кофе, который был черен не потому, что пережарили и сожгли, а потому что густой.

— Кроме того, — сказал субъект, — у меня чувства как бы вросли одно в другое. Не только все перепуталось, но и смешалось.

— Как это?

— Ну я же вам объяснял. Видимо, нервы расщепились, и часть вкусового ствола вросла в зрительный и слуховой. Поэтому, когда я что-нибудь вижу и слышу, у меня одновременно появляется и вкус на языке.

— Приведите пример.

— Ну, скажем... Ну сижу я у телевизора и выступаю... (Тут он назвал фамилию одной известной исполнительницы эстрадных песен, но я не стану эту фамилию приводить.) Когда она поет песню «Мама», у меня во рту возникает вкус слишком приторного пирожного. Притом вчерашнего.

— Это интересно, — согласился я. — Даже жалко, что у нас вообще-то нет синкретичности чувств. Это позволило бы добиваться более верной оценки тех или других произведений искусства. Не так сильно влиял бы момент значимости темы. И не только в искусстве. Вот, например, выступающий на собрании говорит, произносит красивые слова, а вы чувствуете, что плохо пахнет, и всё тут... Да, кстати, а как с чтением? Какое ощущение вызывает у вас хотя бы научная фантастика?

Он подумал.

— Разное. Если я беру книгу... (Тут он назвал фамилию одного известного в прошлом писателя-фантаста,

но я ее тоже опущу, чтоб не обижать человека.) Когда я открываю его роман, то во вкусовом отношении это похоже на остывшую пшеничную кашу. Знаете, такую синнюю.

Мы помолчали. Я подумал, что в будущем неплохо бы научиться произвольно переключать все эти вещи. Без мотоциклетной катастрофы, естественно, а просто так. Например, идет человек слушать концерт и уже в зале консерватории, усевшись в кресло, переключает зрительный нерв на слуховой. Поскольку зрительный аппарат у нас более совершенен, впечатление получилось бы несравненно сильнее. Или можно было бы просто соединять одно с другим и слушать, так сказать, «в два канала».

Он подхватил эту мысль и сказал, что в экстренных случаях, в подводной лодке, скажем, можно было бы весь сенсорный аппарат целиком обращать на слух. Вплоть до обоняния и ощущения.

Некоторое время мы развивали эти идеи, потом нам пришло в голову, что, пожалуй, из этого ничего хорошего не получилось бы. Потому что в концертном зале «слуховые» впечатления от красного шерстяного шарфика на плечах сидящей впереди девицы неприятным диссонансом врывались бы в симфонию Гайдна либо Мясковского. А в подводной лодке вышло бы еще хуже, так как слухач путал бы запах машинного масла с шумом винтов чужого корабля.

Впрочем, эта мысль осенила сначала меня. Мой собеседник вообще не отличался быстрой сообразительностью.

Мы заказали еще по чашке кофе. Я спросил:

— Ну хорошо. А можете вы, например, описать меня?.. Каким я вам представляюсь?

Он как-то косо посмотрел в сторону своими блеклыми глазами.

— На вас серый пиджак и желтая рубашка. Но все это я как бы слышу, а не вижу. Что же касается вкусового ощущения... — Тут он запнулся. — Мне неудобно.

— Ну, ну!

— Нет, не надо.

— Ну отчего, — подбодрил его я, — давайте.

— Ваше лицо вызывает у меня ощущение... ощущение соленого огурца. — Потом он смягчил. — Малосоленого... Но вы не обижайтесь. Вы же понимаете, что я исключение и воспринимаю мир неправильно.

Наступила пауза. Не знаю отчего, но этот тип начал вызывать у меня раздражение. Видимо, этим своим тщеславием.

— С другой стороны, — сказал я, — не такое уж вы исключение. В конце концов, мир воспринимается вами таким, каков он, собственно, и есть. Кроме, может быть, этого вкусового чувства.

— Почему? — запротестовал он. — Ведь глазом я слышу, а это орган, приспособленный для восприятия света. Не звука.

— Ну и что? Вы же мне сами объяснили, что у вас только перепутались нервные стволы. Однако свет вы все равно воспринимаете глазами, а звуки — ушами. И только дальше, в мозгу, это преобразуется у вас в другие ощущения.

— Все-таки в другие, — сказал он. — В неправильные.

— Вот это-то нам и неизвестно, — отрезал я. — Какие правильные, а какие нет. Не путайте реакцию на явления с самим явлением. Природа ведь не клялась, что закат обязательно должен быть красным, а соль



соленой. Для меня небо голубое, а для какого-нибудь микроба, у которого нет зрения, оно, возможно, просто кислое. Понимаете, если поднести к вам провод под током, вы подпрыгнете, а если его приблизить к прибору, там отклонится стрелка. Но вы же не можете утверждать, что ваша реакция верна, а прибора — нет... Пусть у вас все перепуталось, но меня вы, в конечном счете, видите и слышите. Раз мы можем общаться, значит вы воспринимаете мир правильно. Только в вашем сознании возникают другие символы того, что нас окружает. Однако соотношение этих символов между собой такое же, как у всех других людей.

Субъект задумался. Очевидно, ему трудно было расстаться с мыслью, что он исключение. На лбу у него выступили капельки пота, он достал платок и вытер их (в зеркале я видел, что вытаращенный директор кафе продолжает тревожно следить за нашим столиком. И официантка в красном платье все так же колдовски и опасно не спускала с нас глаз, прохаживаясь в отдалении).

— Да, — вздохнул наконец мой собеседник. — Однако то, что вы говорите, я вижу. А ваш зрительный образ возникает у меня в качестве слухового.

Но я уже решил быть неумолимым.

— Но в результате вы в целом превосходно ориентируетесь, не правда ли? Как и все мы.

— Пожалуй...

— А откуда вам вообще известно, что у вас все перепуталось? Может быть, ничего такого и не было?

На лысине субъекта опять проступили капельки пота. Он неловко пересел в кресле.

— Все-таки нет... Во-первых, была же рентгенограм-

ма, где ясно видно, что лобная доля попала назад. Потом вот это соединение чувств и, в-третьих, — он смущенно улыбнулся, — я каким-то удивительным образом могу видеть, вообще не глядя... Кроме того, у меня появились некоторые дополнительные чувства. Скажем, чувство веса.

— Чего?

— Веса... Ну вот давайте я отвернусь, а вы что-нибудь сделайте. Выньте что-нибудь из кармана, и я скажу, что именно вы вынули. Хотя и не буду смотреть.

Он отвернулся.

У меня во внутреннем кармане пиджака как раз был маленький флакончик духов. Я вынул его.

— Флакончик, — сказал субъект. — «Каменный цветок». За три двадцать.

Затем он повернулся ко мне. Это было похоже на фокус.

— И вот еще чувство веса, — сказал он каким-то извиняющимся тоном. — Я чувствую вес. Дайте-ка мне на минутку. — Он взял у меня флакончик и взвесил его на руке. — Девяносто один грамм... Даже не знаю, откуда у меня это берется. Я просто вижу вес, как вы, например, смотрите на дом и сразу говорите, что тут четыре этажа. И даже еще кое-что у меня появилось... Но вот с этим весом удивительная штука. С весом и с моим широким диапазоном вкуса. Я прихожу в столовую, получаю блюдо и тотчас говорю, что мяса здесь не сто двадцать грамм, как должно быть по раскладке, а только девяносто пять. Или что вместо масла комбизир. Даже не требую жалобной книги и не говорю, что побегу сообщать куда надо. Просто сообщаю, как что приготовлено, чего не хватает против калькуляции и так далее. Пробую и сразу рассказываю — так, мол, и

так. В результате, когда они меня видят, все прямо трепещут...

Тут мой взгляд упал на часы, и я сообразил, что надо бежать.

Красное платье получило деньги. Я попрощался со своим собеседником и пошел.

На вешалке, вручая номерок гардеробщице, я вдруг услышал позади тяжелое дыхание.

— Слушайте, ничему не верьте. — Это был вытаращенный директор кафе. — Он же просто псих — тот, с которым вы сидели. Если он говорил, тут сметану молоком разводят или недовешивают, это все ерунда. Вы же сами ели, верно?

От директора пахло черным мускатом по семь рублей за бутылку. И пиджак на нем был английский, отличный, из синего добротного материала, как на народном артисте.

Он оглянулся в сторону зала.

— Ходят тут всякие, мутят, небылицы рассказывают... А на самом деле просто психический. На Канатчикову дачу давно пора отправить.

— А где он работает? — спросил я.

— Кажется, на парфюмерной фабрике. Говорят, что здорово различает запахи. Но, конечно, у него не все дома. Это я вам точно говорю, ручаюсь.

Положив плащ на руку, я вышел на улицу и пошагал мимо окон кафе. Мой собеседник так и сидел за столиком, как прежде. Когда я проходил мимо, он прощально поднял руку. Но смотрел он при этом в другую сторону.

Дома я взял у соседки маленькие весы и убедился, что в моем флаконе действительно ровно девяносто один грамм. Правда, я тотчас сообразил, что тот тип мог

знать это, поскольку сам работает на парфюмерной фабрике. Что же касается его способности видеть, глядя совсем в другую сторону, то ведь там в зале кругом были зеркала. Я же и сам видел наблюдающего за нами директора. Однако тем не менее вот какая странная штука. Я потом стал ходить в то кафе, но ни разу уже не получал там ни таких битков, ни того супа. Это проливает некоторый свет на проблему и лично мне внушает веру, что так все с этим субъектом и случилось в смысле мозговой операции...

Относительно котлет, кстати, каждый сам может проверить. У этого кафе недавно переменили название. Раньше оно называлось не то «Отдых», не то «Лето», а теперь как-то еще (или наоборот: теперь оно называется то ли «Лето», то ли «Отдых», а раньше было как-то по-другому).

Одним словом, оно на улице Кирова.

## ВИНСЕНТ ВАН ГОГ



Нравится, да?.. Ну правильно, конечно. Не просто нравится, а открывает какой-то другой мир, вернее, сдергивает занавес, позволяет увидеть все вокруг свежими глазами. Материя живет, чувствуешь, как в ней кипят атомы и частицы. Предметы, явления раскрывают свою суть, все связывается со всем, начинают просвечивать грани иных измерений. Не правда ли, один из первых живописцев Голландии не уступает тем старинным вроде Рубенса или Ван-Дейка. Но все свое, неповторенное. Кажется, как будто он ни у кого не учился, а если и учился, не использовал того, что узнал. Кубисты потом хотели сделать его своим предтечей, предшественником, но Винсент-то Ван Гог, я вам доложу, не отказывался от ответственности за мир. Наоборот, взял его на плечи, понес и пал в конце концов под этой ношей. И все в одиночку... Я с ним, между прочим, был довольно хорошо знаком. Встречался в разные периоды его жизни, нырял к ним, знаете ли, в предпоследнее десятилетие девятнадцатого века из последнего десятилетия нашего, двадцатого. Вся штука началась после того, как прошли эти Законы насчет путешествий во времени, помните?.. Хотя откуда вам помнить, вы этого вообще не знаете. Да вы садитесь, садитесь вот здесь — на

этот стул можно, он не музейный. Просто я его приношу с собой, чтоб кто-нибудь мог отдохнуть. Приятно ведь посидеть после того, как набегаясь по залам. Впрочем, вы как раз не из тех посетителей, что, высунув язык, носятся от фараонов к абстракционистам, за два часа успевают обскакать все мировое искусство, и только для того, чтоб рассказывать после знакомым, что вот, мол, я ничего не пропустил. Слышали, наверное, эти разговорчики: «А «Джоконду» вы видели?..» — «Видел». — «А вы «Купальщиц» Ренуара видели?..» И как только заверят друг друга, что все видели, говорить больше не о чем, как будто речь шла о прививках. Но на вас я сразу обратил внимание, как вы стали перед «Кипарисами» минут на десять.

...Так о чем мы начали — о путешествиях во времени. Понимаете, когда политические деятели поняли, что прошлое лучше не ворошить, и отступились, в Камеры, во Временные эти Петли хлынул другой народ. Ученые, художники, коммерсанты, вообще черт знает кто. При каждой Камере был, разумеется, учрежден совет, который состоял первоначально из старичков академиков. Врывается к ним какой-нибудь историк, бьет себя в грудь — ему, мол, до разреза нужно уточнить кое-какие детали битвы при Гавгамелах. Бионик выкрикивает про динозавров, кинорежиссер клянется, что у него задуман фильм на сюжет крестовых походов. Заявлений куча, те, кому отказано, злобствуют, распространяют слухи. Старички побились, побились — открыли, так сказать, ворота. И началось. Публика ринулась во все века и ко всем народам, в самые отдаленные эры, вплоть до каменноугольного периода. Везде суется, путаются под

ногами, лезут с советами. Запакостили всю историю, житья никому нет. Особенно везде приелся тип всезнайки — бывают такие дурачки, которые если смотрят в кинотеатре детектив второй раз, никак не могут удержаться, чтоб не испортить окружающим удовольствие, подсказывая, что дальше будет. Приходит, например, в Италию 1455 года к великому Клаудио Мадеруцци этаким самодовольный дуб и сообщает: так, видите ли, и так, умирать вам все равно в нищете. Клаудио, натурально, расстроен, лепить, рисовать бросает. Пошел по кабакам — и на тебе, итальянское Возрождение уже не имеет Мадеруцци, а только одного Леонардо да Винчи, который в прежнем-то варианте был названным братом Клаудио и с ним вдвоем даже написал несколько картин... При этом не только прошлое стало страдать, а и наш 1995 год, потому что сюда тоже зачастили из более отдаленных будущих. Только начнешь что-нибудь делать, тебе такого наговорят, что руки опускаются. И вот когда всем уже стало невмоготу, собрались правительства стран, имеющих Временную Петлю, установили связь с путешественниками из других будущих веков и вынесли решение, чтоб все эти номера прекратить. Хочешь смотреть прошлое — смотри, но не вмешивайся. Издали Всемирный Закон об Охране Прошлого — пускать только таких, кто, хоть умри, не признается, что он из будущего и тем более мешать никому не станет. Все эту конвенцию подписали, а перед тем, как разъехаться, сдернули еще некоторые самые вопиющие завитки. Восстановили, например, Колумба, потому что был уже такой вариант, когда совсем не Колумб открыл Америку. К нему тоже, знаете, явился какой-то болван и с планом в руках доказал, что, следуя через Атлантику на запад, в Индию тот не попадет. «Ах,

не попаду, — говорит тогда Колумб, — ну и пусть, не стану мучиться». В результате Америка так и осталась, а открыли ее только еще через сто пятьдесят лет, когда просто стыдно было не открыть...

Что вы сказали — «Будущее уже существует»?.. Да, естественно, существует. Вместе со всей суммой времен от первого мига в бесконечность. И прошлое и будущее — все существует одновременно, и при этом каждое мгновение меняется. Как раз поэтому у нас нет настоящего, которое было бы статикой, неподвижностью. Верно же, нету? Куда ни посмотришь, все либо уже прошлое, либо еще будущее... Впрочем, это философские вопросы, в которые я забираться не стану. Вернемся к тому, с чего мы начали, то есть к Винсенту Ван Гоггу. Если хотите знать, только благодаря мне вы и можете видеть тут в Лувре его произведения. Не пожалей я в свое время этих картин...

Короче говоря, с 1995 года эти поездки поставили под строжайший контроль. Каждый кандидат проходит двадцать всевозможных комиссий, представляет характеристики о нравственной устойчивости начиная чуть ли не с яслей. Да еще докажи, что действительно надо, продемонстрируй, как будет достигнута полная неза тронутость. В Лондоне, например, целый год готовились, чтобы сделать коротенький телефильм о Генрихе VIII, и им разрешили снять с воздуха пир рыцарей, только когда было доказано, что эти аристократы никогда не смотрели вверх, в небо — бывают ведь такие люди, что с определенного возраста всю остальную жизнь уже никогда не поднимают голову, чтобы глянуть на облака, синеву или звезды. А когда, скажем, снимали лагерь Спартака в 73 году до нашей эры, оператор замаскировался на самой вершине Везувия, работал



через сильный телеобъектив, и было условлено, что, если к его тайнику кто-нибудь подойдет ближе чем на полкилометра, он, чтобы скрыть следы, бросится в кратер вместе со всей своей аппаратурой. Таких, в общем, наставили рогаток, что пробиться никто не мог, и эти Временные Петли чуть ли не постоянно бездействовали.

Но, как вы знаете, закон на то и закон, чтоб его обходить. Свои подписи на торжественном документе поставили полномочные представители нескольких государств, но отнюдь не всякие там сторожа, техники и мелкие администраторы, работавшие при этих Камерах. Одним из таких техников оказался в 1996 году некий мой знакомый с детства. Подчеркиваю, именно знакомый, а не друг — друзей я в ту пору вообще не заводил, потому что и один себя прекрасно чувствовал. Все мое было при мне. Два метра роста, широкие плечи, острый взгляд и быстрая реакция. Мне тогда как раз исполнилось двадцать пять, я уже успел с переулка, где родился, перебраться в собственный двухэтажный коттедж на Третьем Слое тут, в Париже. А Третий Слой, как вы сами понимаете... Хотя сейчас его еще нету... В небо я с младенчества не смотрел, находя на земле все, что мне нравится. И вот однажды под осень попадаете мне возле ипподрома этот Кабюс и сообщает, что работает при Временной Петле. Глаза у меня сразу загорелись, спрашиваю, неужели все-таки кто-нибудь ездит потихонечку в прошлое. Он отвечает, что ездят, почему бы не ездить, если с умом, но требуется большая затрата энергии, которую, чтоб в Институте ничего не заметили, нужно покупать где-то на стороне и перекачивать. Я выражаю согласие вложить капитал, и мы задумываемся, что же, собственно, привезти из прошлого.

Золото или там драгоценные камни отпадают, поскольку и то и другое изготавливается синтетически. Остаются произведения искусства и, в частности, произведения выдающихся художников. Начинаю наводить справки и узнаю, что один из самых ценных живописцев минувшего столетия — Ван Гог. Иду в Национальную библиотеку, поднимаю материал и убеждаюсь, что нескольких лет не хватило бы, чтоб прочесть все о нем. Винсент Виллем Ван Гог родился в 1853 году, то есть почти за полтора века до нашего времени. Любил и был отвергнут. Отдался искусству, живя в нищете, написал около семисот картин. Измученный бедностью и непризнанием, сошел с ума и в возрасте тридцати семи лет покончил самоубийством, выстрелив себе в грудь. Слава пришла к нему только после смерти, когда была опубликована его переписка с братом Теодором и другими людьми... Ну что же, все это мне очень нравится — типичная биография для гения, лучшего и желать нельзя. Для последней проверки отправляюсь в большой художественный магазин в Париже на бульваре Сен-Мари. Останавливаю первого попавшегося сотрудника и говорю, что хотел бы предложить подлинник Ван Гога. В зале сразу воцаряется тишина.

— Ван Гога?.. Подлинник?

— Да, именно.

Посетители смотрят на меня. Продавец просит обождать, уходит, возвращается и предлагает пройти к владельцу салона. Поднимаюсь на антресоли. В маленьком кабинете все стены заставлены книжными шкафами, напротив окна в тонкой медной рамочке репродукция «Подсолнухов» Ван Гога. Лысый элегантный господин здоровается, ставит на стол чашечку кофе. Он взволнован, но старается этого не показать. Спрашива-

ет, что у меня есть. Говорю, что рисунок. «Какой именно?» Да так, отвечаю, мелочь — пастух с овцами. Господин нажимает кнопку звонка, в кабинет входит согнутый старик с седыми усами, как две сабли, — этакая искусствоведческая крыса. Владелец салона вводит его в суть разговора, старикан выпрямляется, усы вскакивают торчком. Какой пастух — палку он держит в правой или левой руке? Что за местность кругом — деревья или голое поле? Темное ли небо, и есть ли на заднем плане башня? Вижу, что передо мной их главный специалист по Ван Гогу. Отвечаю наобум, что пастух вообще без палки, нет ни поля, ни деревьев, и небо не темное, не светлое, а серое, с белой дыркой посередине. Старик закусывает губу, нахмуривается, а затем начинает шпарить, как по-писаному: дрентский период, рисунок задуман тогда-то, сделан тогда-то, упоминания о нем есть в таких-то и таких-то письмах. Развертывается, одним словом, целая лекция. Мне все это не интересно, я затыкаю фонтан, напрямик спрашиваю, сколько можно за такую вещь получить. Элегантный господин думает, затем осторожно говорит, что средне сохранившийся рисунок Ван Гога идет, мол, сейчас по одной, а хорошо сохранившийся по две тысячи ЕОЭ-нов — при условии проверки на молекулярном уровне. Чтоб было понятно, скажу, что, располагая в 1996 году сотней, например, тысяч Единиц Организованной Энергии, вы могли воздвигнуть себе небольшой индивидуальный остров в Средиземном море — даже в глубоком месте насыпать соответствующее количество земли, насадить парк, построить дом и провести дороги... Очень хорошо, очень приятно. На этом я удаляюсь, рассказываю все Кабюсу, и мы решаем, что, если такое дело, надо брать из прошлого побольше. Я предлагаю спус-

титься в Париж столетней давности, то есть в 1895 год, когда художник уже умер и его картины, пока еще ничего не стоящие, хранятся у вдовы брата Иоганны, которая впоследствии издала переписку Ван Гога.

Начинаем готовиться. Кабюс берет у меня пятнадцать тысяч ЕОЭнов и добавляет пять своих. Я приобретаю у нумизматов деньги той эпохи. Заказываю себе костюм — мешковатые длинные брюки в полоску, пиджак без плеч, черный цилиндр с мягкими изгибающимися полями. На шее тогда, между прочим, носили не галстук, а этакую темную ленточку. Все довольно неудобное, ощущаешь себя чучелом, но раз надо, то надо. Проходит две недели, приготовления закончены, погожим вечером мы отправляемся в Институт на Клиши. Сонному охраннику Кабюс объясняет, что я приглашенный на ночь хроноспециалист. Коридоры, повороты, коридоры, нигде ни души. Кабюс открывает своим ключом дверь во Временную Камеру. Техника была такая: указатель ставится на нужный год, месяц, число и час. Затем включение на полсекунды, чтоб бросить взгляд вокруг, еще одно на две секунды для более детального осмотра и окончательный перенос. Эти предварительные включения начали практиковать после того, как одного знаменитого палеонтолога материализовали за сто тысяч лет назад в каменный век прямо перед разинутой пастью пещерного льва.

У меня все прошло нормально. Оглянулся один раз, огляделся другой, и вот я уже в Париже 10 мая 1895 года в полдень воскресенья.

Забавная, скажу вам, штука, попадать в чужое время. Первое, что всегда поражает, — тишина. Если взять город моей современности или, к примеру, вот этой, 1970 года, то, несмотря на борьбу с шумом, дай бог

услышать, что в двух шагах от тебя делается. У нас ближние звуки забивают все дальние. А тут явственно раздавались не только шаги прохожего неподалеку, но стук кареты за углом и даже слабенький звоночек конки квартала за три. Ну потом, конечно, отсутствие автомобилей, чистое небо, свежий воздух, из-за чего создавалось впечатление, будто все обитатели этого мира прохлаждаются на курорте. И какая-то претенциозность в людях. Каждый шествовал по улице со своим выражением на физиономии, причем явно насильственным. Женщина в черном платье до пят старалась показать, что она воплощенная скромность. У толстяка с золотой цепочкой через жилет значилось на лице, что он человек чрезвычайно порядочный, а у разносчика, тащившего большую картонку из магазина, — что отменно трудолюбивый. Любой прохожий как бы содержал в себе двоих — одного, которым был в действительности, и второго, каким хотел казаться. Мне в этой связи пришло в голову, что прогресс человечества — это, кроме всего прочего, движение ко все большей естественности и непринужденности.

Возник я тут же на старом бульваре Клиши — собственно на том месте, где была Камера. Ну и побрел — приличный молодой человек, хорошо одетый, с тростью и большим саквояжем. Должен признаться, что меня одолевала странная, сумасшедшая радость. С трудом сдерживался, чтоб не выкинуть какую-нибудь штуку — разбить, скажем, стекло в витрине, перевернуть карету или дернуть за нос разряженного щеголя, важно шествующего навстречу. Мой рост по сравнению с другими прохожими делал меня просто гигантом, я чувствовал, что при любой выходке могу остаться безнаказанным. Тут ведь еще не слыхали о том, что стометровку можно

пробежать за восемь и пять десятых, а в длину прыгать на девять и восемь. Меня б не догнал ни пеший, ни конный, а дойди до драки, я бы раскидал, пользуясь современными приемами бокса и самбо, любое количество полицейских. Вообще мог стать королем подпольного ночного Парижа, где не было радиопередатчиков, мотоциклов, дактилоскопии, подслушивающей аппаратуры, электронных сторожей и всех других будущих средств обнаружения и поимки преступника. С моей точки зрения, окружающие были маленькими и слабыми. Я их презирал и жалел одновременно.

Посмеиваясь про себя, прошагал одной улочкой, другой, миновал небольшое кладбище, подъехал одну остановку конкой, в которую еле втиснулся, плутал некоторое время в переулках и добрался до номера восемь по улице Донасьон.

Домик, крылечко, садик, клумбочки с цветами — все маленькое, игрушечное, дробное, не такое, как в нашем или в вашем времени. Дергаю ручку проволочного устройства со звоночком — тишина, только пчелы колдуют над желтыми лилиями. Дергаю снова — внутри в домике какое-то шевеление, но дверь не открывается. Рву эту проволоку третий раз, и на крыльцо наконец выходит женщина средних лет — глаза чуть навывкате, выражение лица испуганное. За ней старушка-служанка. Здравуюсь через забор и объясняю, что я иностранец, слышал о произведениях Винсента Ван Гога, которые здесь хранятся, хотел бы их посмотреть.

Хозяйка, эта самая Иоганна, несколько успокаивается. Старушонка отворяет калитку, поднимаюсь на крыльцо. Дом состоит из трех комнаток. В первой что-то вроде гостиной, вторая вся завалена папками и бумагами, третья, как я догадываюсь, служит спальней

для мадам и для служанки. Обстановочка в целом бедная. Хозяйка спрашивает, от кого я слышал о картинах Винсента, я называю какие-то вычитанные в справочниках и монографиях имена. Она удовлетворена, на лице появляются оживление и даже сдержанная, скромная радость. Ведет меня на второй этаж в мезонин, или, вернее сказать, на чердак. Темновато, тесно, и здесь на грубых стеллажах расположены работы Винсента Ван Гога.

Подлинники.

Берусь их просматривать, и вдруг мною овладевает глубокое недоумение. Почему он считается великим художником? В чем его гениальность? За что любители живописи готовы будут отдавать огромные деньги?.. Понимаете, когда я смотрел репродукции в роскошно изданных альбомах и читал всевозможные славословия, это было одно. Но теперь картины передо мной на чердаке, у меня есть возможность увидеть их напрямую, а не через облагораживающую призму времени, и становится ясно, отчего ему удалось за всю жизнь продать только одно-единственное произведение. На пейзажах деревья двумя-тремя мазками, дома грубыми пятнами. Если он делает, например, огород, то не разберешь, что там посажено — капуста или салат. Нигде нет отделки, этакой, знаете, старательности, повсюду поспешность, торопливость, небрежность. Впечатление, будто все, что он видел, ему хотелось огрубить, исказить, искорректировать. Я начинаю догадываться, что слава большинства знаменитых художников, а может быть и поэтов, — не столько их заслуга, сколько результат шумихи, которую позже поднимают всякие критики и искусствоведы. Попадись вам в руки пьеса Шекспира, поэма Пушкина или гравюра Дюрера, но при условии, что вы слыхом

не слыхивали ни об одном из трех, первое и второе показались бы вам выпренными, а третье просто скучным. Каждому из нас с детства попросту вколачивают в голову, что, скажем, Шекспир и Микеланджело — это гении, а без такого вколачивания мы бы их ни читать, ни смотреть не стали... Все это проносится у меня в мыслях, но вида я, естественно, не подаю и говорю себе, что мое дело маленькое, раз за Ван Гога будут платить такие ЕОЭны.

Повертел в руках одну вещь, вторую, обращаюсь к хозяйке дома — служанка горчит здесь же в дверях — и говорю, что мог бы купить если не все, то хотя бы главное. Холстов этак двести. Иоганна Ван Гог поднимает на меня свои бледные глаза: «Купить?» Да, именно купить и заплатить наличными любую цену, которую она назначит. При этих словах вынимаю из кармана пачку тысячефранковых билетов, разворачивая их веером. И что же я получаю в ответ? Представьте себе, что глаза выкатываются еще больше, увядшая дама склоняет голову и тихим, но твердым голосом сообщает мне, что картины непродажные. Она, видите ли, уверена, что брат ее покойного мужа Винсент Ван Гог сделал очень много для искусства, в будущем должен принадлежать человечеству, и поэтому она не считает себя вправе продать его произведения частному лицу. Она намерена издать его переписку — та самая комната, заваленная бумагами, — и надеется, что после этого люди поймут, каким прекрасным человеком и гениальным художником Винсент был. Продать она ничего не может, но, поскольку мне нравятся его вещи, она готова подарить несколько рисунков и одну-две картины из тех, которые написаны в нескольких вариантах. Улавливаете, какая психологическая установка — продать



нельзя, а подарить можно! Типичный старомодный девятнадцатый век!

Я выслушиваю все это вежливо, притворяюсь, будто обиделся, и говорю, что либо все, либо ничего.

Штука-то в том, что мной был учтен и этот вариант. Ведь я, вооруженный достижениями нашей науки, был почти всесилен по сравнению с жителями конца прошлого века — что-то вроде зрячего в стране слепых. За день до отъезда я заглянул к знакомому аптекарю и выудил у него особый пузырек, который в нашей эпохе употреблялся для перевода диких зверей из одного заповедника в другой. Вы надавливаете кнопку, задерживая при этом дыхание секунд на сорок, а все живое в тридцатиметровом радиусе погружается в глубокий сон. Пожимаю плечами, сую деньги в карман и нащупываю там пузырек. Обе женщины тотчас начинают зевать, тереть глаза и через полминуты опускаются прямо там, где стояли. Я же извлекаю из саквояжа второй, поменьше, и неторопливо принимаюсь отбирать картины. Помню, что взял «Башню Ньюэнен», «Подсолнухи», «Кафе в Арле», «Прогулку заключенных», само собой разумеется, «Сеятеля» — около двух сотен холстов и картонов, которые, на мое счастье, лежали тут прямо без рам. Заглянул еще в комнату на втором этаже и прихватил две папки с письмами из того десятка, что там лежали на столе. Набил, короче говоря, до отказа обе свои емкости, вышел, нанял карету и спокойненько доехал на бульвар Клиши. С Кабюсом мы договорились, что он выдернет меня через сутки, для чего мне следовало быть в назначенное время на том же самом месте, где я материализовался. Переночевал в маленьком отеле, к полудню вышел на улицу, поднял повыше оба саквояжа. Секунды бегут на ручных часах, мгновен-

ное небытие (нулевое состояние), и я уже во Временной Камере, в Институте нашего века, а все, что только происходило, откатывается в глубокое прошлое, на столет назад. Поворачивается ключ в замке, передо мной лисья мордочка Кабюса. Тотчас замечаю, что мой приятель несколько переменился. Стал чуть поменьше ростом и еще длинноносее, чем раньше.

Он оглядывает саквояжи.

— Привез?

— Привез. Почти что весь Ван Гог целиком.

— Что за Ван Гог? Мы же договаривались насчет Паризо.

— Какой Паризо?

Мы, одним словом, не можем друг друга понять. Но спорить некогда, надо выносить саквояжи из Института. Благополучно минуем охрану. Кабюса я завез домой, сам еле дождался утра, беру несколько холстов и мчусь в тот художественный салон. Поднимаюсь сразу наверх и говорю лысому владельцу, что могу предложить Ван Гога. Тот поднимает брови.

— А кто это такой?

— Как кто? Да вот у вас репродукция его «Подсолнухов».

Сам при этом смотрю и вижу, что в медной рамочке уже совсем другая вещь.

Хозяин салона нажимает кнопку, появляется старикан с усами. Хозяин спрашивает, знает ли он Ван Гога. Старикан заводит взор к потолку, мнетя, пожимает плечами, думает. Да, действительно был в прошлом веке такой малозначительный художник. О нем есть упоминание в одном из писем Паризо.

Элегантный владелец салона смотрит на меня.

— Послушайте, вы же у нас были две недели назад и обещали принести подлинный рисунок Паризо.

— Я?.. Паризо?..

— Ну конечно. «Качающиеся фонари в порту», — рисунок, о котором Паризо писал Браку. Та вещь, которой недостает в «Марсельской серии».

Бегу в библиотеку, принимаюсь листать справочники по искусству. Нигде даже упоминания о Ван Гогe, ни единой строчки, но зато повсюду красуется Паризо.

Думаю, вы уже догадались, в чем дело. С нами сыграл шутку этот самый «эффект Временной Петли», о котором мы с Кабюсом и представления не имели. Понимаете, что получилось с этими Петлями. Первыми возможность путешествовать по времени открыли французы в 1994 году. Потом последовали Советский Союз, Канада, совместный итало-американский проект и так далее. Знаете, как бывает — наука подошла к определенному барьеру, топчутся-топчутся, а затем начинают брать все подряд. В разных местах построили шесть Петель, откуда можно было прыгать в прошлое. Американцы, правда, свою Петлю поместили в Риме — рассудили, что собственной истории у них небогато. Одни только свирепые индейцы, которые при случае могут и скальп снять. Тут же выяснилось, что прошлое влияет на настоящее, и этим, как положено, сразу воспользовались политики. Прикинули, что у каждого неприятного современного происшествия есть корни во вчерашнем дне, и, если корни подрезать, не будет и самого происшествия. Вот, допустим, скандал на конференции в ООН. Ирландский дипломат О'Брайен поссорился с английским делегатом лордом Фитц-Прукс, которого всегда недолюбливал. Сцепились, слово за слово, кон-

ференция сорвана. Казалось бы, ситуацию легко исправить. Необходимо, чтобы сотрудник мининдела Англии прыгнул на две недельки назад во времени, слетал в Дублин и от имени генерального секретаря ООН попросил ирландское правительство послать на предполагаемую конференцию не О'Брайена, а кого-нибудь другого. Так оно и делается, конференция проходит без сучка, без задоринки. Это я сейчас говорю о случаях сравнительно несущественных, но влиять можно на вещи куда более масштабные. В конце концов, за какое историческое событие ни возьмись, всегда можно найти момент в прошлом, когда еще можно было пустить события по другому руслу. Вспомнить хотя бы войну между Бразилией и Аргентиной в 1969 году. Бразильцы на заставе в глуши возле Игуасу праздновали день рождения какого-то там капрала. Заложили за воротник, начали салютовать из автоматов. На другой стороне подумали, что их обстреливают, дали ответный огонь. Бразильцы спяну бросаются вперед, завязывается схватка — народ-то, знаете, горячий эти латиноамериканцы, питаются чуть ли не одним перцем. Бразилия захватывает три километра аргентинской территории, натывается на летний лагерь танкистов. Те тоже рады случаю размяться, наносят контрудар и вторгаются к соседям на сорок километров. Срочное заседание Президентского совета Бразилии, внеочередная сессия аргентинского Народного собрания. Пока в Женеве раскачиваются и создают комиссию, бразильские «боинги» совершают налет на Буэнос-Айрес, а аргентинский воздушный флот сыплет бомбы на Рио-де-Жанейро. Обе столицы в пожарах, на улицах трупы и скрученные трамвайные рельсы. Франция вступает за Бразилию, США автоматически принимаются интриговать за Ар-

гентину. Конфликт принимает глобальный характер, а началось-то с пустяков. Для нашего 1995 года все это было уже глубокой историей, но только что построили эти Временные Петли и подумали: отчего бы не облегчить людям жизнь там, в прошлом? Отрядили специального человека еще на двадцать лет назад раньше, то есть в 1949 год. Он приезжает в Рио-де-Жанейро, разыскивает будущую мать злополучного капрала — ее зовут Эстрелья, она с будущим отцом еще не знакома. Посланец нашего времени берет девушку из кафе, где она моет посуду, и устраивает стюардессой на авиалинию Рио-де-Жанейро — Осло. В норвежском порту красавица бразильянка заходит в буфет, ей на ногу наступает неуклюжий белобрысый таможенник Гануссон. Любовь с первого взгляда, домик в Арендаль-фьорде, пятеро детишек, все безумно счастливы...

Что вы сказали? «Не было никакой войны между Аргентиной и Бразилией в прошлом году...» Ну естественно, не было — я же вам объясняю почему. Просто не родился тот капрал, а раз так, не праздновали дня рождения со всеми вытекающими последствиями. Осуществился другой альтернативный вариант будущего. Сначала был тот, с войной, а когда слазили назад и переделали, реальностью стал другой. С этими вариантами очень интересно. Понимаете, любое изменение в прошлом вызывает новую последовательность событий, и сеть изменений тотчас распространяется по всей линии времен вплоть до момента, с которого вы совершали прыжок в прошлое. Вся история мгновенно в нулевое время перестраивается, а людям кажется, что всегда так и было. Вот это, кстати, самое главное. Именно людям кажется, но не человеку, который сам путешествовал и помнит прежнюю ситуацию. Вот вы,

предположим, отправились в девятнадцатый век, пробыли там неделю, — это, между прочим, означает, что вас неделю в современности не было, — возвращаетесь и видите, что ваш приятель ссутулился, как рыболовный крючок. Вам-то ясно, что это одно из непредсказуемых последствий того, что вы наколбасили там, в прошлом, — до вашего отъезда приятель славился своей осанкой на всю улицу. Теперь кое-что переменилось, но вы помалкиваете, а приятель вас ни в чем не винит, поскольку в новой последовательности событий так и родился, привык к своей сутулости и не мыслит себя иначе. Вместе с тем и на вас, выбравшегося из Временной Петли, окружающие глядят с легким недоумением. Ведь изменения коснулись и вашей прежней личности, той, что входила в Петлю, а вышли-то вы из Камеры, сохранив свой изначальный, первовариантный вид. В результате родным и знакомым приходится заново привыкать к вам, да и сами вы вынуждены осваиваться со своей новой биографией...

«Не так уж приятно...» Так в том-то и дело. Это сперва политическим деятелям все казалось простым, но позже они поняли сложность. Возьмем тот же случай с ирландцем и лордом Фитц-Прукс. Посланец английского мининдела обо всем договорился, а когда он через три дня выныривает из Временной Петли, новый вариант уже свершился, а о том, неудачном, никто и знать не знает. Наш герой лезет всем на глаза и старается доказать, что удачная конференция (уже завершившаяся, ибо он выехал после нее и еще позже вернулся) его заслуга. «Понимаете, — мямлит он, — будь это О'Брайен, получилось бы иначе». Однако в ответ все пожимают плечами: «А какой дурак хотел послать О'Брайена? Разве такие предложения были?»

Другими словами, ситуация уже перевернулась и представляется людям вполне естественной.

Между тем для нашего путешественника выпало из современности два дня, он потерял ориентировку, готовится новое международное совещание, но его забыли внести в список делегатов. То же самое и с войной 1969 года. Некто ездил в прошлое, хлопотал там, а когда вернулся, вся история с пограничным инцидентом, вызвавшим всемирный конфликт, любому здравомыслящему человеку представляется совершенно невероятной. «Какой капрал? — толкуют нашему страдальцу. — Никакого капрала не было, и вообще эта граница всегда славилась превосходными отношениями».

В результате таких вот номеров политические деятели поняли, что всякий вмешивающийся в прошлое обязательно попадает впросак. Они отдали тогда простым гражданам возможность путешествовать в другие века, а потом уже началась та заваруха, после которой прошел Закон об Охране Прошлого. Но теперь представьте себе, что мы-то об этом не знали, как и подавляющее большинство населения Земли. Планета жила себе и жила, варианты сменялись, а человечеству всякий раз казалось, что всегда так и было. Ведь не расскажи я сейчас об этом, вам и в голову бы не пришло, что существовал вариант с войной между Аргентиной и Бразилией. Тут особенность как раз в том, что лишь той личности, которая путешествовала, известно, какой была ситуация раньше. Вот что лично я знал к этому моменту о Временных Петлях? Ну, читал, естественно, в газетах, что они созданы, видел по телевизору несколько коротеньких, из-за угла снятых фильмов — «Пир Генриха VIII», «Лагерь Спартака» и в таком духе. Ходили слухи, что несколько человек во-

обще пропали, отправившись в прошлое, как тот знаменитый палеонтолог. И все! Будь мы с Кабюсом поумнее, нам следовало бы прикинуть, что, если я извлеку из прошлого какие-то картины Ван Гога, они соответственно исчезнут в нашем настоящем из музеев и частных собраний. Но мы даже как-то и не задумались — ему двадцать девять лет, мне еще на четыре года меньше. Ажиотаж, воспаленное воображение, чудятся миллионы и даже миллиарды ЕОЭнов.

А последовательность событий в результате моей дурацкой эскапады получилась такая. Я, можно сказать, изъял Ван Гога из обращения. Унес основной фонд его картин, да еще прихватил значительную часть писем. Поэтому вдова брата не смогла ничего издать, и Винсент Ван Гог практически вычеркнулся из истории искусства. Позже, на рубеже девятнадцатого и двадцатого веков, возник другой талант примерно того же направления — Паризо. Когда изменения по сети времен дошли до нашей эпохи, родился я, встретился с Кабюсом, стал наводить справки о живописцах, узнал о Вальтере Паризо и именно его захотел вынести из прошлого. Поэтому Кабюс, когда я вышел ночью из Временной Петли, и сказал, что речь у нас шла о Паризо.

Но что же в итоге? На руках у меня два саквояжа с картинами Ван Гога, но я же и являюсь единственным во всей вселенной существом, которое знает, что такой художник вообще есть. Подумал я, подумал и решил сдернуть завиток. Истраченных на создание излишка ЕОЭнов это не возвращало...

«Сдернуть завиток»... Ах да! Я же вам не объяснил. Дело в том, что сразу после создания Временных Камер выявилась возможность исправлять наиболее



неудачные шаги. Это маневр называли «снять Петлю», или попроще — «сдернуть завиток». Допустим, вы побывали в пятнадцатом веке либо в пятом, а, вынырнув в XX, убеждаетесь, что последствия вашего путешествия выглядят уж слишком непривычно. Тогда надо влезть еще раз в Камеру, повторно поставить указатель на тот же момент и тут же шагнуть обратно, не предпринимая ничего. В этом случае все возвращается на свои места, будто вы и не путешествовали. Правда, указатель никогда не встает точно, и поэтому разные мелкие изменения все же могут прорываться...

Что?.. Колумб?.. «Как узнали, что в основном варианте был Колумб?» Да просто потому, что не один тот болван находился в это время в прошлом, а еще довольно много народу. Их не затронули изменения, они, когда повозвращались, и подняли скандал. Вообще, конечно, не все удалось восстановить в прежнем виде. Очень может быть, что тот вариант прошлого, результатом которого мы сами являемся, вовсе не первоначальный. Про Клаудио Мадеруцци я вам уже рассказывал. Беда в том, что в таких случаях нужно посылать того же человека в тот же момент. Но тот олух, который предсказал Мадеруцци его печальный конец, погиб на третий день после возвращения в нашу эпоху. Поехал развлекаться в Египет и там на персональном самолете врезался в пирамиду Хеопса — западную сторону потом несколько дней отскребали от гари, образовавшейся при взрыве. Думаю, что Клаудио скорее всего не одинок в своем несчастье. Наверняка таким же образом для нас пропало еще много художников, ученых, изобретателей. Но зато, пожалуй, появилось и много новых.

Вернемся, однако, к Ван Гогу, то есть к нам. Про-

никли мы опять ночью в Институт — оба саквояжа я принес с собой — и сдернули Петлю. Наутро я опять побежал в библиотеку и убедился, что все в порядке. Ван Гог восстановился, каждая энциклопедия уделяет ему не меньше полстраницы, статей и даже монографий просто не сосчитать. А беднягу Паризо как корова языком слизнула. Посоветовался с Кабюсом и пришел к выводу, что не надо гоняться сразу за всем, а лучше привезти одну, но достаточно ценную вещь. Остановился на «Едоках картофеля», которая в нашем времени оценивалась в целых двести тысяч. Ход моих рассуждений был таков. Я спускаюсь в прошлое, приобретаю у художника первую из его крупных картин, и об этом он, несомненно, сообщит брату как о замечательном успехе. В нашей современности произведение, само собой разумеется, мгновенно исчезнет не только из галереи, где сейчас находится, но и из всех альбомов и книг с репродукциями. Однако в истории искусства оно останется как утраченное. Его будут упоминать все исследователи, сожалеть, что оно было кем-то куплено и с той поры пропало. Я же, вернувшись в наш век, сочиню сказку, будто нашел «Едоков» на старом чердаке в доме дальних родственников.

Кабюс возражать не стал, он взял у меня еще пятнадцать тысяч, сложил их со своими, чтобы в течение ближайших недель создать избыток в энергетическом резервуаре Института, а я уселся поплотнее за изучение материала. Приобрел одно из последних изданий «Писем Ван Гога». Книга была издана роскошно, но, как позднее выяснилось, с опечатками. Так или иначе, я убедился, что с «Едоками картофеля» все должно кончиться хорошо. В своих посланиях к брату и к художнику Раппарду Винсент очень подробно рассказывает

о замысле, об эскизах, о начале работы и об ее конце. «Едокам» он придавал большое значение, несколько раз возвращался к этой теме в дальнейшей переписке.

По книге получалось, что он закончил вещь в марте 1883 года, а шестого апреля послал ее Теодору в Париж. Значит, мне нужно было явиться к нему числа третьего или четвертого, чтобы застать картину высохшей и транспортабельной.

В жизни художника это был один из наиболее тяжелых периодов. За плечами Ван Гога осталось уже тридцать лет прожитой жизни, за которые он ничего не добился. У него, вполне взрослого мужчины, нет ни семьи, ни женщины, ни друзей, ни своего угла и вообще никакой собственности. Он пробовал стать продавцом в художественном магазине, но его выгнали, пытался сделаться священником, но католический капитул маленького шахтерского городка Боринаж пришел в ужас, услышав его проповеди. Девушка, его первая любовь, переехала в другой город, как только он признался ей. Общество клеймило его в качестве ничтожества и неудачника. Он и в самом деле не в состоянии был приспособиться к миру, в котором жил, не умел даже заработать себе на пропитание. Какая-то шизофреническая правдивость, соединенная с гневным, неуживчивым характером, приводила его к катастрофе, за что бы он ни брался. Родные стыдились его, старались держать подальше от себя. Он скитался из одного конца Голландии в другой, оборванный, голодный, существуя на жалкие гроши, которые могли присылать ему брат и презиравший его отец 1883 год застает Ван Гога в маленьком местечке Хогевен на севере страны, где он решает полностью отдаться искусству и научиться писать. Но у него нет школы, никто ему ничего не показывал,

он вынужден создавать свою технику и свою теорию. В письмах к Теодору он, подавляя свою гордость, просит оказать ему хоть чуть-чуть доверия, дать хотя бы капельку теплоты. Он выкраивает на краски и бумагу из тех сумм, что брат посылает ему на хлеб. Но при этом же он нередко становится в позу судьи и посвящает целые страницы суровой критике современной ему живописи.

Честно говоря, я увлекся этими письмами, что-то в них звучало суровое и величественное. Хотелось даже скорее увидеть самого художника.

Материализовался в 1883 год я опять в Париже, там же, на Клиши, сразу пошел на вокзал, поездом до Утрехта, оттуда на Меппель каналом на Зюйдвальде, почтовой каретой до городишка Амстельланд и оттуда пешком до Хогевена. Мне потребовалось около трех суток, чтобы преодолеть пятьсот пятьдесят километров, и, скажу вам, то были нелегкие километры. Поезд еле тянется, маленькие вагончики дребезжат и стонут, на пароходе в каюте не повернешься, в карету я вообще еле влезал. Повсюду мухи, а когда они отступают, за тебя без передышки берутся клопы и блохи, которых в поезде и на пароходе предостаточно. Весна в тот год запоздала по всей Европе. В свое время я приготовил пальто соответствующей эпохи, но в последний момент посчитал его слишком тяжелым и грубым, в результате на солнце мне все равно было жарко, а как только оно заходило, становилось холодно. И в другом смысле эпоха столетней давности отнюдь не казалась мне курортом. В Париже 1895 года народ празднично шатался, но, как я потом сообразил, это объяснялось воскресным днем и тем, что я попал как раз на улицы, заселенные чиновниками. Теперь же стало

ясно, что люди работают, да еще как вкалывают. И все руками. Метельщик метет, пахарь пашет, землекоп копает, ткач тклет, кочегар без отдыха шурует, повсюду моют, стирают, выколачивают. Встают с восходом, ложатся с закатом, и постоянно в хлопотах, в непрерывном движении, четырнадцать часов работы считается еще немного. Это в наше время трудиться означает трудиться головой. А там чуть ли не все на мускульной силе человека, которая и движет этот мир. Куда ни глянешь, руки так и ходят.

Добрался я до Амстельланда ближе к вечеру, отсюда до Хогевена оставалось около трех километров. Я рассчитывал, что схожу к Ван Гогу, куплю картину и как раз успею на ночную почтовую карету, которая довезет меня обратно в Зюйдвальде на баржу.

Местность была довольно унылая, одноцветная. Равнина, болота, изгороди и больше, собственно, ничего. С моей точки зрения, настоящий художник тут не смог бы и вдохновиться.

Дошагал до места, навожу справки о «господине, который рисует», мне показывают какой-то курятник на самой окраине. В таком домишке столетием позже и собака постыдилась бы переночевать. Правда, исключения он не составлял, поскольку вся эта деревня (или город) состояла из нескольких десятков таких же строений.

Стучусь, предлагают войти. Вхожу и сразу говорю себе, что больше трех минут я в этой яме не выдержу. Духота, натоплено углем, сырость, грязь, копать. Такое впечатление, что тут и одному не поместиться как следует, однако в комнате целых шестеро. Старик, который курит вонючую трубку, женщина с младенцем — его она держит одной рукой, а второй умудряется тереть

что-то в деревянном корыте. Старуха на постели, мужчина с тяжелой челюстью, который за столом медлительно прожевывает что-то, черпая из миски, и рыженький подросток, сидящий чуть поодаль от других. Он смотрит в окошко. Сидит на краешке скамьи, неестественно выпрямившись, как человек, который здесь временно, который, пожалуй, везде временно. И все это не столько освещено, сколько замутнено и отуманено желтым огоньком керосиновой лампочки, подвешенной под низким черным потолком.

Глаза поворачиваются ко мне, только мужчина за столом не поднимает тупого, равнодушного взора от миски. Спрашиваю, нельзя ли увидеть господина Ван Гога. Минутное замешательство, подросток встает, подходит ко мне. Повторяю раздраженно, что мне нужен художник Ван Гог. Все смотрят на меня недоуменно, молчание, подросток делает неловкий жест, и вдруг я вижу, что это не подросток, а взрослый. У него рыжая борода, острые скулы, впалые щеки, выпуклый широкий лоб с большими залысинами и редкие, зачесанные назад волосы. Черты лица очень определенные, резко очерченные. На мой взгляд, ему не тридцать, а все сорок пять лет, и только маленький рост, нелепая короткая курточка и какая-то напряженная выпрямленность в осанке делают его похожим на мальчишку.

— Я Ван Гог, — говорит он и слегка кланяется, но не головой, а всем корпусом.

Здороваюсь, отрекомендовываю себя вымышленным именем.

Он еще раз сдержанно кланяется.

Оглядываюсь, положение какое-то нелепое. Я торчу посреди комнаты в неудобной позе, не имея возможности выпрямиться, так как потолок слишком низок. Не-

понятно, здесь заводить разговор или выйти на улицу, где уже начинает темнеть. Я готов и выйти, но не покажется ли это хозяевам невежливостью? С другой стороны, мне просто тяжело стоять согнувшись.

Ван Гог молчит, и остальные тоже.

Оглядываюсь опять, ниоткуда никакой помощи. Чувствую себя ужасно неловко. Откашливаюсь, говорю, что хотел бы посмотреть его рисунки и, возможно, приобрести что-нибудь.

Ах, рисунки! Лицо Ван Гога мгновенно светлеет, оно по-юношески заливается краской. Что же, пожалуйста, с удовольствием! Он очень рад и польщен.

Поспешно делает два шага в сторону, нагибается, лезет под старухину постель, выныривает оттуда с ворохом бумаги и картонов. Выпрямляется, но все это нелегко даже разложить, и он остается стоять так, глядя не на хозяев, а на меня.

Мужчина за столом неторопливо отправляет в рот ложку, встает, ставит миску на подоконник. Что-то говорит старику. Вдвоем подходят к старухе, она с трудом спускает ноги с постели. Старик накидывает ей на плечи платок, и все трое выходят вон. Женщина скидывает с себя передник, положив ребенка на скамью, споласкивает руки тут же в корыте, тряпочкой протирает стол, который и так чист, если в этих условиях вообще можно говорить о чистоте. Она прибавляет света в лампе, берет ребенка и садится с ним у печки. Все молча и быстро.

Территория освобождена, Ван Гог кладет свой ворох на стол. Он все еще не предлагает мне сесть, смотрит на женщину. Та, будто почувствовав его взгляд, поворачивается к нам, той же тряпочкой протирает табурет и подталкивает к столу.

Сажусь наконец, и Ван Гог принимается показывать рисунки. Он совсем переменился, выражение озлобленности исчезло, голубые глаза уже не так суровы, лицо озарено.

Рисунки выполнены главным образом тушью, некоторые на тонированной бумаге, но больше на простой. Многие я довольно хорошо знаю: «Девочка среди деревьев», «Рыбаки, встречающие барку», «Хогевенский сад зимой». В дальнейшем по каждому из этих листов возникнет целая литература, они приобретут номера в каталогах, обязательные для ссылок, всяческие дополнительные обозначения. Я вспоминаю, что, поскольку «Хогевенский сад» выполнен в двух вариантах, один из которых через сто лет окажется в будапештском Музее изящных искусств, а другой в Нью-Йорке, между специалистами из обоих городов разгорится ожесточенный спор относительно того, какой вариант знаменитого рисунка является первым. Но до этого протечет еще десять десятилетий, а пока художник, голодный и тощий, суетится у стола и тревожно, робко заглядывает мне в глаза, стараясь понять, нравится мне хоть что-нибудь.

Он начинает говорить, задает вопросы, но не дожидается ответов. Его несет, это фонтан, гейзер, лавина.

Люблю ли я рисунки вообще?.. Лично он считает, что рисунок — основа всякой живописи, хоть масляной, хоть акварельной. Только рисунок дает свободу в овладении перспективой и пространством, причем эта свобода оплачивается сравнительно низкой ценой, так как тушь и бумага стоят не так уж дорого, если говорить о материальной стороне, в то время как даже за акварельные краски нужно платить бешеные деньги. Он знает молодых художников, что сразу хватаются за



живопись, но, не поняв предварительно природы, рисуют «из головы», затем тоже «из головы», наобум малюют что попало, смотрят на свою работу издали и корчат многозначительные рожи, стараясь уяснить, что же получилось. По-настоящему-то ключ к живописи нельзя найти исключительно в самой живописной технике. Если так поступать, дело кончится тем, что лишь испортишь массу дорогих материалов. Он решил сначала набить руку на рисунке и не раскаивается. Ему почти не пришлось учиться, он только недолго ходил в мастерскую Антона Мауве в Гааге... Кстати, от кого я вообще услышал о нем и как нашел дорогу сюда, в Хогевен? Если от Мауве или тем более от Терстеха, то не надо с полным доверием относиться к тому, что они сказали о нем. В Гааге Терстех считает, будто он ленится работать с гипсами, изучать художников-академиков и вообще рисует слишком быстро. Но что касается изучения человеческого тела по гипсам, он вообще не верит в это. Фигура крестьянина, который выкапывает репу из-под снега, не обладает и не будет обладать классическими пропорциями. К таким вещам нельзя подходить с салонной точки зрения, а надо набраться мужества и передать тяжесть труда, который не передашь, если сам не будешь вылезать из мастерской, не потащишь свой мольберт на пустошь, не пройдешь десятка километров до подходящего места. Если у тебя, в конце концов, у самого тело не будет болеть и ныть. Он так и делает и не может поэтому согласиться с тем, будто ищет легкий путь. За каждым из его завершенных рисунков стоят десятки эскизов, причем не только в комнате, а на поле, в болоте и на лугу, когда пальцы мерзнут и с трудом держат карандаш. Он не старается только изобразить пейзаж верно,

но передать настроение. Вот, скажем, этот «Сад в Хогевене». Может быть, здесь есть недостатки, он сам отлично понимает, что это не совершенство и многого не стоит, но, с его точки зрения, в голых деревьях уловлен какой-то драматизм и выражено чувство, которое овладевает человеком, когда он на голодный желудок, как всякий крестьянин, должен выйти и приняться за окапывание яблонь в дождь и ветер. Сейчас в моде итальянские акварельки с голубым небом и живописными нищими — все сладкое, сахарное, приятное. Но он предпочитает рисовать то, что видит, то, что вызывает у него скорбь, любовь, восхищение и жалость, а не такое, что понравилось бы торговцу картинами. Он считает оскорбительным для художника поступать иначе. Если хочешь изобразить нищего, то нищета и должна быть на первом плане, а не живописность. Нельзя забывать, что этот человек страдает, что ему предстоит одному умереть в канаве без всякой помощи. Пусть рисунки не отличаются академической правильностью, но каждый сделан для решения определенной задачи... Вот эта, например, «Женщина с прялкой» не удалась — ее и смотреть не стоит. Дело в том, что комната маленькая, он должен был бы отойти чуть подальше от натуры, но тут этого нельзя сделать. И при всем том, по его мнению, рисунки показывают, что он не стоит на месте, а движется...

Понимаете, он обрушил на меня все это, не позволяя вставить слова. Одинокий в этой деревне, где ему не с кем было даже перемолвиться, он теперь говорил, говорил и говорил, совершенно забывшись.

Топилась печка, коптила лампа, поднимались испарения. Голова у меня начала кружиться, я чувствовал, что могу просто свалиться тут же под стол. Надо

было все прекращать, я спросил, нет ли у него чего-нибудь сделанного маслом. Ах, маслом! Да, конечно! На лице его мелькнул легкий испуг, он понял, что рисунки не понравились. Проворно сунул их под кровать, извлек откуда-то из-за сундука возле окна груды холстов и картонов. Тут было три пейзажа, но эскизных, две марины, несколько портретов.

И снова принялся объяснять. Пусть мне не покажется, что вот в этом пейзаже неестественный свет. Это говорит привычка видеть картины, сделанные в мастерской. Большинство современных художников, не таких прекрасных, как Милле, Коро или, скажем, Мауве (он очень любит Мауве, хотя они и разошлись), а средних живописцев очень любят свет, однако не живой, не настоящий, не тот, что можно увидеть утром, днем или ночью среди полей или, в крайнем случае, среди улицы. Большинство художников пишут в мастерской, и поэтому свет у них одинаковый, холодно-металлический. Ведь в мастерской можно работать только с одиннадцати до трех часов, а это как раз самое пустое в смысле света время суток. Респектабельное, но лишенное характера и апатичное. Он же как раз старается работать непосредственно с натуры. У него, правда, нет мастерской, но, будь она, он поступал бы так же. И пусть я не думаю, что морской пейзаж сделан слишком быстро. Он писал вещь в Краггенбурге во время шторма, принимался несколько раз, но ветер нес песок, который налипал на краску. Приходилось соскребывать. Он потом нашел укрытие за старой баржей в дюнах и после каждых нескольких мазков бегал к берегу, чтоб осветить свои впечатления..

Я жестом отверг пейзажи, и он перешел к портретам.

— Видите, — говорил он, — у нас часто пишут человеческое лицо так, что краски, положенные на полотно, имеют примерно тот же цвет, что и тело. Когда смотришь с близкого расстояния, получается правильно. Но если отойти немного, лица делаются томительно плоскими, потому что розовые и нежно-желтые тона, мягкие сами по себе, на расстоянии выглядят жестко и пусто. Я же работаю так, что вблизи это кажется несколько неестественным — зеленовато-красный цвет, желтовато-серый или вообще не поддающийся определению. Но вот отойдите сейчас немножко в сторону, и вы почувствуете верность, независимость от краски, воздух в картине и вибрирующий свет. Вот встаньте, пожалуйста.

Я встал, совершенно замороженный, и стукнулся башкой о потолок. Причем довольно здорово. В глазах на самом деле появился вибрирующий свет, и я рухнул на табуретку.

Ван Гог забежал вокруг меня, извиняясь.

— Ну хорошо. А нет ли у вас чего-нибудь поновее? — спросил я, потирая ушибленное место. Станным образом этот удар меня как-то подбодрил. — Дайте мне какую-нибудь композицию. Покажите самое последнее.

Он задумался на миг.

— Да-да, сейчас. — Слезил снова под кровать и выпрямился с большим пакетом в руках. — Вот это. Я собирался завтра послать ее брату в Париж. — Он стал разворачивать пакет, развернул и трепетно уставился на меня.

«Едоки картофеля», как всем известно, изображают просто едоков картофеля, и больше ничего. По тем своим временам я вообще не мог понять, зачем рисуются

такие вещи. Другое дело, когда художник воссоздает на полотне хорошенькую брюнеточку либо блондинку — обнаженные плечики, грудь, полуприкрытая кружевом. Хорошо, если она при этом призывно смотрит на зрителя или, наоборот, опустила глазки и загораживает грудь пухлой ручкой — таковы были мои тогдашние требования к классическому искусству, если не говорить об искусстве рекламы, где сюжету следует быть гораздо острее и обнаженнее. Здесь же на полотне было семейство крестьян, собравшихся вокруг блюда с картошкой. Они едят сосредоточенно, истово, ощущаются молчание и тишина. Лица грубые, усталые, руки тяжелые и корявые. Правда, какие-то акценты меняются от человека к человеку и заставляют взгляд пробежать по всему кругу. Фон сделан почему-то синим, лица картофельного оттенка, а руки у персонажей коричневые.

Ван Гог, очевидно, заметил тень недовольствия, скользнувшую по моей физиономии.

— Понимаете, мне кажется, вещь сделана правильно. Картина из крестьянской жизни не должна быть надушенной, верно ведь? Я хотел показать, что люди едят свою пищу теми же руками, которыми они трудились на поле, и таким образом честно заработали свой хлеб. Цвет лиц может показаться вам неестественным, но и про Милле говорили, что он пишет крестьян той самой землей, которую они засевают. Для фона я использовал много парижской синей, но мне казалось...

Я поднял руку, прерывая его, сказал, что сам все это вижу. Картина мне нравится, и я готов был бы приобрести ее для своей коллекции.

Имейте в виду, что это была первая его работа, которую кто-то соглашался взять, хотя за его спиной

было уже около двухсот тщательных рисунков и двадцать картин маслом. На миг Ван Гог стал бездыханным, потом тихо переспросил:

— Купить? Для вашей коллекции?

Я кивнул.

— Сколько вы за нее назначите?

У него даже задрожали руки, он мучительно нахмурил брови и стал прохаживаться у стола, делая по два шага в одну и в другую стороны. Ему не хотелось отдать картину за меньшую сумму, чем она обошлась ему самому, и в то же время он боялся спугнуть меня слишком высокой ценой. Он смотрел в пол, долго что-то высчитывал, шепча про себя, потом поднял голову.

— По-моему, — начал он осторожно, — сто двадцать пять гульденов было бы недорого. Или двести пятьдесят франков.

— Двести пятьдесят?

— Да... Видите ли, я считаю так. — Он заторопился, объясняя. — На работу затрачен примерно месяц, если говорить только о самом полотне. Чтобы месяц существовать, мне нужна примерно половина этой суммы. Остальное — холст и краски. Вы, может быть, думаете, что тут нету наиболее дорогих. Но дело в том, что этот серый цвет составлен...

— Отлично, — сказал я и поднялся, на сей раз втянув голову в плечи и опасливо посмотрев на потолок. — Я плачу вам тысячу франков.

— Сколько?

— Тысячу франков.

И тут мы вдруг услышали какое-то шевеление возле окна, а затем отчаянный голос:

— Нет! Так нельзя!

Мы оба оглянулись. Женщина, о которой я совсем

забыл, стояла выпрямившись — ребенок рядом на постели, — и глаза у нее сверкали гневом.

— Тысячу франков? Никогда!

Вы понимаете, в чем дело. Эти крестьяне зарабатывали всей семьей франков пятьдесят в месяц, вряд ли больше. Главными для них были хлеб, одежда и топливо. Ван Гог же, который не производил ни того, ни другого, ни третьего, казался здесь просто бездельником. Его занятие представлялось им сплошным отдыхом — ведь карандаш много легче лопаты, которой они ворочали по десять часов ежедневно. Женщина была просто оскорблена. Огромная по ее понятиям сумма, которую я предложил за кусок раскрашенного холста, зачеркивала жизнь ее самой, мужа и родителей.

Впрочем, собственная выходка ее уже смутила. Она побледнела, схватила ребенка и, отвернувшись от нас, принялась нервно его подкидывать, хотя он и так спал.

Интересно, что и Ван Гог был ошарашен. Он покачал головой.

— Нет-нет. Это слишком. Сто двадцать пять гульденов будет довольно.

— Но я хочу заплатить вам тысячу франков. Вот, пожалуйста.

Я вынул из кармана тысяchefранковый билет, положил его на стол. Однако художник отшатнулся, как от гремучей змеи. Черт побери, опять непредвиденная трудность! Идиотизм положения состоял в том, что у меня было с собой только несколько десятков тысяchefранковых билетов и какая-то не стоящая упоминания мелочь в голландских гульденах. В Париже нашего времени мне и в голову не пришло, что он спросит так мало и тем паче откажется взять больше. Деньги в Европе конца прошлого столетия были очень дороги, и

я прекрасно представлял себе, что сейчас в Хогевене никто не сможет разменять такой кредитки.

Я попытался сунуть билет ему в руку, но он оттолкнул его, говоря, что картина, мол, того не стоит, и он не позволит себе обманывать меня.

«Не стоит» — представляете себе! Для меня она стоила больше, чем в его времени можно было бы выручить и за этот домишко, и за весь жалкий городок! Она стоила больше организованной энергии, чем было заключено человеческого труда в целой провинции Дренте со всеми ее дорогами, торфяными болотами, строениями, каналами и полями. «Он не хочет обманывать меня!» Хотел бы я доказать ему, что получу не в сто раз больше, чем затрачиваю, не в тысячу, даже не в миллион. Что на деньги, вырученные за «Едоков», мы с Кабюсом приобретем сады, воздвигнем дворцы и вообще получим возможности, какие никому и не снились в его глухую нищенскую эпоху. Но заведи я такую речь, и он и женщина сочли бы меня сумасшедшим.

Четверть часа я потратил, уговаривая его, но Ван Гог был тверд, и я в отчаянии свалился на свое сиденье. — Что же делать?

Тогда он предложил сходить в городишко Цвелоо, где есть ссудная касса и где даже ночью нам смогут разменять билет. До Цвелоо считалось миль девять, как он сказал, и я понял, что уже не успею обратно в Амстельланд на почтовую карету до канала. А это значило, что весь обратный путь до Парижа придется проделывать в ужасающей спешке, чтоб успеть на бульвар Клиши к тому моменту, когда приятель будет выдергивать меня обратно в наше время.

Но выхода не было, и мы пошли. На дворе стоял довольно ощутимый холод. Ван Гог накинул мне на



плечи свою куртку, говоря, что привык мерзнуть и что ему ничего не станется.

Надолго, не скрою от вас, мне запомнилась эта прогулка.

Когда мы вышли, над горизонтом как раз появился молодой месяц. Около километра мы шагали аллеей с высокими тополями, потом по обе стороны дороги раскинулась равнина, кое-где прерываемая треугольными силуэтами хижин, сложенных из дерна, — сквозь маленькое окошко обычно виден был красноватый отсвет очага. В лужах на дороге отражались небо и луна, через некоторое время справа простерлось черное болото, уходящее в бесконечность. Пейзаж весьма монотонный, чтоб не сказать тоскливый, но Ван Гог находил в нем всяческие красоты, на которые указывал мне.

Он был очень воодушевлен своим первым в жизни успехом. Покончив с красотами окружающей местности, он принялся рассказывать о крестьянах, у которых снимает угол, и поведал мне, что эти люди, хотя необразованны и не имеют никакого представления о таких вещах, как искусство, но добры, тактичны и по-своему благородны. Очень он хвалил старуху — мать молодой женщины, рассказал, что еще совсем недавно она работала наравне с другими в поле, и только в самое последнее время ее свалила воспалившаяся грыжа — болезнь, которой часто мучаются женщины, вынужденные поднимать большие тяжести. Операция у амстердамского врача, по его словам, стоила целых двести франков, а у старухи было накоплено только пятьдесят, которые она намеревалась оставить себе на похороны.

Мы шагали и шагали, он заговорил о том, что лишь у шахтеров в Боринаже и здесь у крестьян встретил по-настоящему человеческое отношение к себе — так,

старуха в отсутствие молодых дала ему однажды миску молока, когда увидела, что он не ел весь день. Да и другие члены семьи вовсе не мешают ему работать, хотя и не понимают смысла и цели его занятий. Вообще, в Хогевене ему повезло, так как от восхода и до заката все отсутствуют и даже старуха в солнечные дни выходит с ребенком в сад. Дом в полном его распоряжении — если б не малые его размеры, он представлял бы собой превосходную мастерскую.

Разделавшись со своим настоящим, Ван Гог перешел к прошлому. Общество так называемых «порядочных людей» отвергло его. В собственной семье, если не говорить о брате Теодоре, среди родственников и знакомых он считается чем-то вроде бродячей собаки. Такого пса нельзя впускать в комнату, потому что он мокрый, взъерошенный, грязный, может наследить на паркете, даже укусить. Его презируют и говорят, будто он дерзок, скандален, неуживчив и сам добывается одиночества. Ему вменяют в вину, что он всегда отстаивает собственную точку зрения, даже то, что, когда какой-нибудь важный господин подает ему, здороваясь, не всю руку, а только палец, он, Ван Гог, в ответ поступает так же, забывая о разнице в общественном положении. Но это неправда, что он добывается одиночества. Он не заслужил такой пытки. Художнику нужно уединение, но он, как и все люди, нуждается в друзьях, развлечениях, обязанностях и привязанностях. Он хочет быть человеком среди людей, а не изгоем. Даже здесь его не оставляют в покое. Вскоре после приезда местный священник посоветовал ему меньше общаться с людьми, как он выразился, «низшего круга», а когда он, Ван Гог, не послушался, тот запретил прихожанам позировать для рисунков и картин. Поэтому

му я и был встречен так холодно сегодня вечером — он думал, что меня послал бургомистр.

Он говорил, говорил — опять у меня стало мешаться в голове от этого непрерывного потока. Чтобы сбить ему дыхание, я пытался задавать вопросы, но только усиливал словоизвержение. От одной темы он переходил к другой, сюжеты ветвились, порой он уходил в сторону от того, с чего начал, но не забывал первоначальной мысли и обязательно возвращался к ней. Примерно половины того, что он на меня обрушивал, я не понимал, а вторую половину старался пропустить мимо ушей. Вдруг он замолчал, довольно долго шагал, не произнося ни слова, затем остановился, взял меня за руку и посмотрел мне в глаза.

— Вы знаете, — сказал он тихо и проникновенно, — сегодня был тяжелый день. В такие дни хочется пойти навестить друга или позвать его к себе домой. Но если тебе некуда пойти и никто к тебе не придет, тебя охватывает чувство пустоты и безнадежности. В эти минуты человека может выручить только работа, но по вечерам это для меня невозможно. Я был близок к отчаянию, но вот пришли вы и все персвернули. Вы добрый человек, вы благородный человек. Если даже нам не доведется увидаться в жизни, я всегда буду помнить о вас и в трудные мгновенья повторять себе: «Я хотел бы быть таким, как он».

С этими словами мы двинулись дальше.

Тем временем километр за километром оставались позади, а Цвелоо все не было видно. Когда мы только выбрались из духоты крестьянского дома на свежий воздух, я глубоко вздохнул несколько раз, прочистил легкие и опять почувствовал себя крепким, готовым на все. Снова, как в Париже, каждый тренированный

мускул играл, при каждом шаге оставался неизрасходованный запас энергии, и я даже сдерживал себя, чтоб не обогнать низкорослого спутника.

Из-за нереальности этой ситуации — я в девятнадцатом веке, ночью, в степи — мне делалось смешно. Думалось о том, что вот я шествую рядом с Ван Гогом, которому суждено позже стать гением, и всякое такое. О нем будет написано множество книг, прочитано бесчисленное количество докладов, и одних только диссертаций искусствоведы защитят не меньше трех сотен — а ведь каждая означает немалую сумму ЕОЭнов в виде добавки к зарплате. Все это так, а вместе с тем он маленький и хилый, я же большой, сильный, ловкий. Захоти я дать ему в ухо, никто в мире не помешает мне, он отлетит, пожалуй, шагов на десять, несмотря на свое будущее величие, и вряд ли сразу поднимется.

Но эта чертова дорога оказалась не такой уж легкой. Понимаете, одно дело, когда ты пробегаешь стометровку по специальной эстроновой дорожке в комфортабельном спортивном зале или когда вышагиваешь по туристской тропе — на тебе пружинящая обувь и почти невесомая одежда, которая не стесняет движений. Тут же я был наряжен, как чучело, а тяжеленные ботинки висели на ногах, словно колодки. Не знаю, существовало ли там какое-нибудь покрытие на той дороге, во всяком случае, начало пути мы проделали по грязи. Потом подморозило, грязь чуть затвердела, начала проминаться под подошвой, идти стало повеселее. Однако еще позже грязь затвердела совсем, но сохранив при этом все неровности. Сделалось невозможным удобно ставить ногу при шаге — то проваливается носок, а пятка оказывается высоко, то наоборот. Миновал час, я взялся высчитывать, сколько же это будет кило-

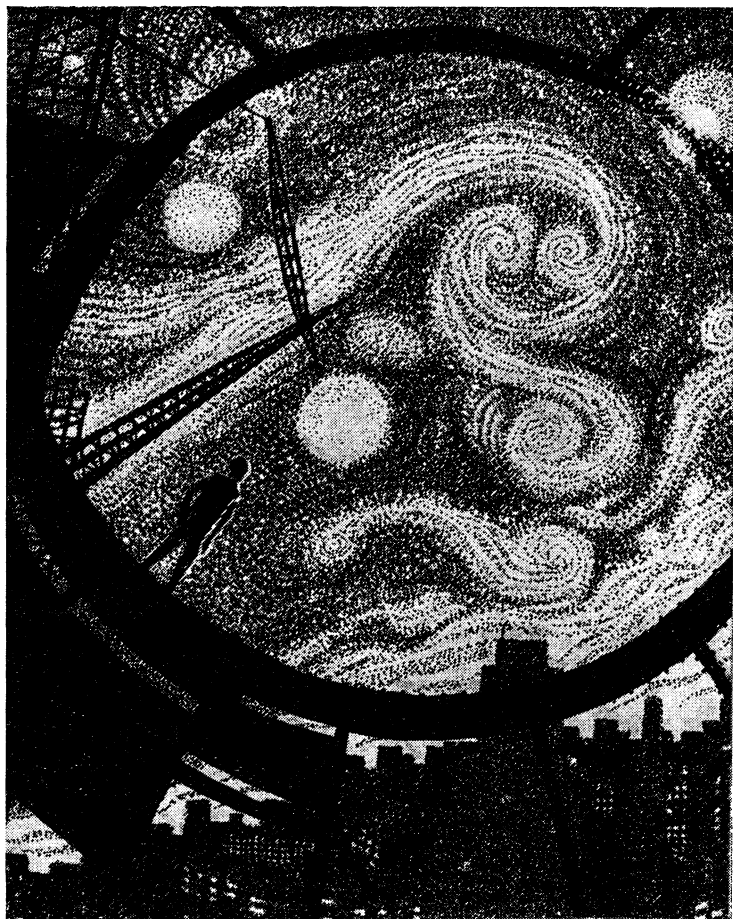
метров — девять миль. У меня было впечатление, что миля меньше километра. Затем вдруг я вспомнил где-то мне попавшуюся таблицу перевода старинных мер длины в наши и весь покрылся холодным потом. В одной миле тысяча шестьсот девять метров. Всего, значит, до Цвелоо километров пятнадцать, а за нами пока осталось меньше половины! Постепенно кураж начал покидать меня, тщеславные мечтания улетучивались. Еще через час я еле волочил ноги, весь раскис и размяк.

А Ван Гог по всем признакам был свеж как огурчик. После недолгого молчания он опять заговорил, то и дело останавливался, чтобы полюбоваться звездами или всмотреться на горизонте во что-нибудь такое, чего я и разглядеть не мог, бегом догонял меня, отходил в сторону, пробуя, как вспахана земля, и так далее. Ему подобные концы были, видимо, в привычку, он, может быть, ежедневно проделывал еще больший путь с мольбертом в одной руке и тяжелым ящиком с красками в другой. И вскоре я сообразил, что, стукни я его действительно по уху, в сторону отлетел бы скорее кто-нибудь другой, а не он.

Не помню, как уж мы добрались до этого городишка, где я предоставил Ван Гогу все хлопоты, а сам уселся на ступени у входа в ссудную кассу, вытянув ноги.

Обратный путь был еще ужаснее. При свете звезд, поскольку луна зашла, Ван Гог вгляделся в мое лицо, участливо осведомился, здоров ли я, и предложил опереться на его плечо. Так я и сделал, он, можно сказать, почти доволок меня до дому.

Хижина оказалась пустой, хотя и натопленной — хозяева ушли ночевать к родственникам. Старухина постель сияла свежими простынями, хотя, впрочем, для данного случая это слишком сильное выражение. Про-



стыни ведь тогда служили целыми десятилетиями, их стирали после того, как пользовались некоторое время, — без мыла, а только в проточной воде. Ван Гог сказал, что это для меня, а сам улегся на деревянной скамье. Но, во-первых, на короткой кровати мне пришлось сложиться чуть ли не в восемь раз, а во-вторых, мучили голову спертый воздух, всяческие непривычные запахи да скрип и шевеленье за стеной, где в хлеву помещалась корова. Из-за духоты мне делалось дурно, я несколько раз выходил на улицу, но там моментально замерзал. Забыться удалось только под утро, но в семь часов Ван Гог заботливо разбудил меня, поскольку помнил, что мне надо в Амстерланд на дилижанс.

Позавтракали миской молока, что была, вероятно, пожертвована той же старухой. Ван Гог вскользь заметил, что попробует поговорить с доктором относительно операции, — слова, которым я напрасно, как позже выяснилось, не придавал значения. «Едоков картофеля» он положил на стол, рылся затем несколько минут в своих рисунках, вынул два больших и сказал, что дарит их мне. То были «Хогевенский сад» и «Степь с деревьями» — оба пятьдесят сантиметров на сорок. И вы знаете, я не взял. То есть у меня не было сомнений, что за каждый заплатят по две тысячи, но я представил себе жадную рожу Кабюса и решил, что такого удовольствия этому жулику не доставлю. Пусть лучше вещи не будут исключены из истории искусства на целое столетье. Художнику я объяснил, что рисунков не коллекционирую, и получится правильное, если они достанутся тому, кто их оценит по-настоящему.

Я был совсем разбит, развинчен — в пору брать каждую ногу в отдельности и переставлять. Ван Гог разволновался, побежал в деревню и вскоре вернулся,

с торжеством объявив, что уговорил одного крестьянина подвезти меня три четверти пути — понимаете, с транспортом было в этот момент очень нелегко, шли весенние полевые работы. Через десять минут появилась скрипучая телега, влекомая парой тощих, мосластых лошадей, на которую я себя и погрузил — блистательное завершение для всех моих гордых мыслей, не правда ли?

К первым домишкам Амстельланда мы добрались около восьми. Ван Гог шагал рядом с повозкой и нес картину. Когда возница уже должен был поворачивать в сторону, мне пришлось едва ли не по частям вынимать себя из телеги. Солнце поднялось над горизонтом, но было скрыто тучами, и в западной части неба мерцали звезды. Ван Гог показал на одну из них, лицо его было мягким и задумчивым.

— Посмотрите, какая она спокойная, прекрасная и добрая. Иногда мне кажется, что звезды связаны между собой таинственными отношениями, о которых мы и не подозреваем. Что их хороводы влияют на нашу судьбу, а сами далекие светила следят за нами и радуются, если мы поступаем добро... — Потом он повернулся ко мне. — Знаете, я поздно начал рисовать. В двадцать восемь лет восприятие не так свежо, а рука не так перемчива, как в детстве. Другие в моем возрасте уже владеют школой, выработали свою манеру и даже находятся в зените славы, а я еще только учусь. Поэтому мне не следует питать иллюзий относительно себя, я еще долго буду одинок и никем не признан. Но вы помогли мне, и теперь я верю, что, если человек хранит симпатию к людям и трудится не переставая, он должен добиться своего...

Темная торфяная низменность раскинулась вокруг



нас, утонувшая в грязи дорога уходила к горизонту, и мы помолчали.

В Париж к месту вызова я поспел вовремя. Из Камеры вывалился прямо на Кабюса, разговаривать с ним не стал, дополз до такси на карачках и полуживой к себе, пробыв, таким образом, в прошлом столетии всего неделю.

Но, как вы понимаете, бодрящие ванны, суг-массаж и всякое прочее делают чудеса. Отмылся, отскребся, оттерся, проспал восемнадцать часов на воздушном матрасе слабой вибрации и наутро вторых суток почувствовал себя человеком. Теперь уверенность в успехе у меня была полная. Наклеил этикие провинциальные ушки, натянул длинные штаны чуть ли не до коленей и двинул в художественный салон. Но не на бульвар Сен-Мари, где меня все же могли узнать, а в другой, на Монмартре. Вхожу, напускаю на себя простецкий вид, наваливаюсь на прилавок и жду, пока меня заметят.

Заметили, спрашивают, что мне угодно.

— Да так, — говорю, — был у тетки под Антверпеном, на чердаке попалась картина. Вроде какая-то старая. Изображено, как люди в древности ели картошку. — Сам разворачиваю картину и поворачиваю к свету. — Тут подписано «Винсент Ван Гог». Мне художник неизвестен, скорее всего современник этого, как его... Леонардо да Рафаэля. Вот я и подумал, что, может быть, кто заинтересуется.

Ожидаю услышать возгласы удивленья, радости, но присутствующие глядят на меня с иронией. Один из продавцов берет картину в руки.

— Да, в самом деле, подписано «Ван Гог». Пожалуй, такому сюжету подошло бы название «Едоки картофеля».

Чешу в затылке, отвечаю, что и сам бы ее так называл.

Продавец поворачивает вещь обратной стороной к себе.

— Смотрите, тут и дата проставлена. «Март 1883». Все точно, как в его письмах к брату, — первый вариант известнейшего произведения.

— Неужели? — спрашиваю. — Я даже как-то не посмотрел с той стороны. Значит, 1883 год. Выходит, что он жил раньше этого Леонардо.

Второй продавец берет «Едоков» из рук первого и протягивает мне.

— Возьмите. Не стоит даже проверять на подлинность. Этой картины не существует. Есть только копия, сделанная по памяти в 1888 году.

— Как не существует? С чего же он тогда делал копию?

— А вы почитайте «Письма». Можете у нас приобрести экземпляр... Эй, куда же вы! Послушайте, у вас левый ус отклеился!..

Дома хватаю свой томик «Писем», начинаю судорожно листать. Вот, пожалуйста, январь 1883-го.

«Дорогой Тео, никогда я еще не начинал год с более мрачными перспективами и в более мрачном настроении. На дворе тоскливо: поля — черный мрамор с прожилками снега; днем большей частью туман, иногда слякоть; утром и вечером багровое солнце... Черные кусты на фоне пасмурного неба и ветви тополей жестки, как железная проволока...»

Дальше, дальше! Это я все знаю.

«...Боюсь, что я сделался для тебя уж слишком тяжелым бременем. Злоупотребляю твоей дружбой, постоянно прошу денег на то, что, может быть, никогда не принесет плодов. Горько думать о себе, что ты неудачник, и временами...»

Дальше! Где-то здесь должно быть упоминание о будущей картине... Ага, вот оно! Картина уже готова.

«Дорогой Тео, поздравляю тебя с днем рождения и от всей души желаю здоровья и счастья. «Едоки картофеля» закончены, картина уже высохла, послезавтра посылаю ее тебе. Надеюсь, ты поймешь, что я хотел в ней выразить...»

Это было написано третьего апреля, а на другой день к Ван Гогу постучался незнакомец, то есть я, и купил «Едоков». Значит, в следующем письме будет отчет об этом великом событии.

Я чуть помедлил, прежде чем перевернуть страницу.

«Тео, я сжег картину!

Это произошло три дня назад. Вдруг пришла минута, когда я понял, что не был в этой вещи до конца самим собой. Труд целой зимы пропал, я сожалею о своем поступке, но, правда, не очень, так как многому научился в ходе работы. В частности, добиваться того, чтобы красно-желтый цвет смотрелся светлее, чем белый, который я стал делать, смешивая, скажем, парижскую синюю, киноварь...»

Потом идет о красках, а затем такие строчки:

«У нас в домике радостное настроение Я не писал тебе, что мать моей хозяйки, пожилая женщина по имени Вильгельмина, тяжело болела последнее время. Так вот, недавно ее удалось устроить на операцию...

Было еще одно весьма странное и отрадное происшествие, о нем я расскажу тебе при встрече, когда ты, как было обещано, приедешь навестить меня. Кстати, до этого времени можешь не посылать денег. Я сумел сэкономить, у меня осталось еще около ста франков из тех трехсот, что я получил от тебя на февраль и март».

Вы понимаете, что сделал этот филантроп? Проводив меня в Амстельланд, он зашел к тамошнему доктору и, чувствуя себя богачом, отдал двести франков на операцию для старухи. Скорее всего импульсивно. Затем

возвращается домой, и ему приходит в голову, что он, живущий целиком на содержании брата, не имел права так поступить. Ван Гогу делается стыдно. Он чувствует, что не может написать Теодору, что истратил первые заработанные им деньги, и, объясняя, почему не выслана картина, он сообщает, что уничтожил ее. Но при этом оставляется лазейка: «Расскажу тебе при встрече». Скорее всего, он и рассказал все Теодору, когда они увиделись, однако разговор не вошел в историю искусства, остался нигде не зафиксированным...

Что вы говорите? «Не слишком честно по отношению ко мне»... Да, может быть. Но имейте в виду, что история с этим обманом самому Ван Гогу казалась эпизодом, касающимся исключительно только его и брата. Пусть в письме неправда, но при личной встрече он откроет, как было в действительности, и вопрос снят. Он ведь и представления не имел, что история сохранит его послания, что каждая строчка, которую при свете керосиновой лампочки он царапал на шершавой серой бумаге, переведется на шестьдесят языков и выйдет в бесчисленном количестве книг, да таких шикарных, каких ему не доводилось и в руках держать.

Он солгал, потом — я в этом уверен — признался, и конец. Но для меня-то штука обернулась иначе — попробуй докажи, что предлагаешь подлинную вещь, когда в письме черным по белому значится «сжег».

Однако, если вы думаете, что я приуныл, это не так. В конце концов наскоком люди не становятся миллиардерами. Прикинул, что Временные Петли действуют около двух лет, но пока не слышно, чтоб неожиданно возникали крупные состояния. Ладно, говорю себе, кончился этап бесшабашного приступа, начинаю планомерную осаду. У меня есть возможность путешествовать

в прошлое, да к тому же я стал специалистом по Ван Гогу. Ослом надо быть, чтоб не использовать сложившихся обстоятельств. На ошибках учимся.

Пошел прежде всего к Кабюсу, объяснил, в чем дело, и потребовал, чтоб мы снова сняли Петлю. Он в панике, плачет, что многим рисковал, теряет последние сбережения. Стал жаловаться, что, мол, жена ждет, пока он разбогатеет, бросит работать — действительно, он как раз в это время женился на тощей, словно телевизионная башня, деве по имени Марш с подозрительным, злым взглядом. Сказал, что лучше бы ему сговориться с кем-нибудь другим, поскольку со мной, вероятно, ничего не выйдет. Я ответил, что сам могу столкнуться с охранником, например, который пропускал нас уже три раза и, несомненно, в курсе всего. Кабюса это привело в чувство, и мы сделали, как я сказал. Понимаете, завиток-то мне нужно было сдернуть, чтоб «Едоки» Ван Гога опять появились в мире. Ведь чем больше известно его картин, тем ярче слава и дороже будет привезенное мною. Кроме того, хотелось, чтобы первое посещение перестало существовать — он начнет еще что-нибудь спрашивать, я не буду знать, как отвечать, и в таком духе.

Теперь уж я решил вооружиться по-настоящему. Связался прежде всего со швейцарской фирмой «Альпенкляйд», которая, помните, создала новую одежду для альпинистов — человека обливают составом, образуется пленка, через нее кожа дышит, помехи движениям нет, и при этом можно хрястнуться в тридцатиметровую пропасть, не получив даже синяка. Пленка гнется на суставах только в определенных направлениях и при этом тверда, как сталь. «Панцер-кляйдунг», или «ПК», имела большой успех, а после они приступили

к выпуску «ТК», то есть термической одежды. Ткань сделана из специальных нитей, а энергия берется от цезиевой батарейки размером в спичечный коробок, которая укрепляется на поясе. Надел, поставил, допустим, на пятнадцать градусов, а дальше хоть трава не расти, потому что регулировка происходит автоматически — в ветреную холодную погоду нити согревают, в жару наоборот, и вокруг тебя постоянно кондиционированный климат. Начала фирма с производства туристской одежды, и мне пришлось послать в Цюрих описание того, что мне надо было... Ну, запаса снадобьями против клопов, деньгами — не только тысячефранковыми билетами, а и помельче, запасными батарейками. Заказал из искусственных алмазов кольцо на старинный манер — хотелось проверить, как отнесутся к нему парижские торговцы драгоценностями конца прошлого века.

Интересно было готовиться. Прежние махинации я совсем забросил, в Институт заглядывал довольно часто и там примелькался. Встретишь в пустом коридоре какого-нибудь согбенного седобородого академика: «Здрассте-здрассте, как дела?» — «Да ничего, спасибо». Я иду своей дорогой, он семенит своей — вроде так и надо. Только, бывает, оглянется с легким недоумением, сам смутится этой оглядки и на другой раз первым кидается здороваться, пока ты еще рта не успел раскрыть.

Кабюс возился с замещением энергии, а я почитывал материалы по той эпохе. Задача, собственно, осталась прежней, только я намеревался принять меры, чтобы поупка обязательно отразилась в переписке.

Но вот настает долгожданный день, вернее, вечер. Толстяк-охранник в вестибюле понимающе подмигивает нам, и я влезаю в Камеру. Мною был теперь избран

июнь 1888 года. Художник живет в небольшом городе Арле на юге Франции, и к нему еще не приехал Гоген — я догадывался, что после появления друга Ван Гогу будет не до меня, да и вообще не хотел быть свидетелем драматических событий, которым вскоре надлежало развернуться. План мой был таков. Одну картину покупаю у Теодора в Париже, но так, чтобы он Винсента попросил прислать ее из Арля. Затем еду к самому художнику и там устраиваю такую же штуку. Мол, то, что я вижу, меня не устраивает, пусть он напишет брату относительно одного-двух полотен из старого. В результате в обе стороны полетят запросы, подтверждения, все будет включено затем в «Письма», ситуация с «Едоками» не повторится.

Путешествие мы с Кабюсом рассчитали на три недели. Побывал я на Монмартре, посмотрел в той, первой «Мулен-Руж» их прославленную танцовщицу Ла Гулю, которую Тулуз-Лотрек рисовал, о которой стихи сочиняли, — так, ничего особенного... Показал в ювелирном магазине кольцо, его без звука взяли за десять тысяч. Было общее впечатление дешевости всего и в первую очередь человеческой жизни. Ну какое тогда могло быть население в Париже — не больше полумиллиона? Хотя что я говорю... не больше четверти. И тем не менее люди вели себя так, будто их наплодилось слишком много и они никому не нужны. Во всяком случае, в городе. Молоденькая девчонка на улице идет за богатым стариком по первому знаку. Беседуешь с кем-нибудь, и если он чувствует, что у тебя полный карман, только и смотрит, чтобы успеть согласиться с твоей мыслью сразу, как только она будет высказана. Ощущается недостаток во всем: в пище, одежде, жилье, недостаток энергии на Земле. Разговоры такие, что за

пять тысяч можно купить любого модного журналиста, за пятьдесят — важного государственного деятеля.

Тут же выяснилось, что в программе приобретения картин придется переставить компоненты. Я хотел начать с Теодора, который, как мне было известно, в это время получил место директора художественной галереи в фирме «Буссо и Валадон». Пошел туда, но его не оказалось — как раз уехал к Иоганне свататься. Из картин Ван Гога там висело только «Хлебное поле» и то в самой глубине последнего зала, в углу. Я ее потрогал со странным пиететом, она была слегка запылена. Не знаю, чем объяснить свое чувство. Почему-то возможность прикоснуться к картине, на которую никто и внимания не обращал в 1888 году, представлялась мне более ценной, чем личное общение с ее создателем.

На третий день пошел на Орлеанский вокзал, сел в поезд. До Арля тащились со скоростью двадцать километров в час. Стояла жарища, но я в своей ТД благодушествовал. Разговаривал с соседями, смотрел в окошечко. Прекрасное место все же Франция! А поля, виноградники, рощи в ту пору выглядели ничуть не менее живописно, чем сейчас. Остались позади Невер, Клерман, Ним. В восемь утра вторых суток пересекли Рону...

Понимаете, мне было, конечно, ясно, что Ван Гог переменялся за те пять лет, что разделили городок Хогевен и Арль. Я-то метнул себя тогда из прошлого в комфортабельный 1995-й, а он остался на торфяной равнине, в холоде и нищете, чтоб продолжать жестокую борьбу. И продолжал. Из Хогевена, гонимый одиночеством, он переезжает в Нюэнен. Ему страстно хочется, чтоб у него была подруга, семья. В то время как многие в ту бедную эпоху боялись иметь детей, он пишет брату, что боится не иметь их. Еще раньше была исто-



рия с уличной женщиной, больной, беременной, которую он взял к себе, чтобы ее перевоспитать. Но из этого ничего не вышло, только прежние знакомые окончательно от него отвернулись. Теперь в Ван Гог влюбляется дочь соседей по Ньюэнену Марго Бегеманн. Винсент тоже любит, однако родители запрещают Марго встречаться с ним, и девушка принимает яд. С надеждой на личное счастье покончено, остается только искусство. Ван Гог отправляется в Антверпен, чтобы попасть в среду художников. Нет мастерской, он работает на улицах. Не на что нанимать натурщиков, он договаривается, что сначала нарисует чей-нибудь портрет — моряка, солдата, уличной девушки, — а потом в качестве гонорара сделает этюд уже для себя. Письма к брату пестрят выражениями: «*Misère ouverte!* Ради бога, пришли хоть столько, сколько сможешь уделить. Я буквально голодаю». От постоянного недоедания у него пропадает аппетит, и порой, получив от Тео небольшую сумму денег, он не может есть. Ван Гог удается поступить в Академию художеств, но через три месяца его вынуждают покинуть ее стены — рисунки Винсента решительно не похожи на то, чему учат преподаватели. Несколько поправляются дела у Теодора, он дает брату возможность приехать в Париж. Однако и здесь ничего не меняется. Винсент начинает учиться в мастерской Кромона, но за исключением Тулуз-Лотрека никто не подходит посмотреть, что же у него получается. Окружающим он кажется сумасшедшим, когда в самозабвении бросает краски на картину с такой энергией, что дрожит мольберт. Его молчаливая дикая страстность отталкивает более молодых и беззаботных художников. За два года, проведенных в столице Франции, Ван Гог создает более двухсот картин — это к тем

двум сотням, что были написаны в Голландии, — но каждая выставка для него провал, и до сих пор не продано ни единого полотна, подписанного его именем. Решив наконец, что Париж не принял его, Винсент измученным уезжает в Арль.

Повторяю, я знал и это и то, что художник просто постарел. Правда, в наше время у человека в этом возрасте как раз прибавлялось здоровья. В 1996-м люди в период от тридцати до тридцати пяти или сорока лет обычно молодели, и довольно заметно. Понимаете, личность окончательно узнает, на что способны ее разум и тело, возникает уравновешенность, духовная и физическая гармония.

Не приходилось сомневаться, что с Ван Гогом будет иначе, да было и много автопортретов той поры. Но все равно я не ожидал такого, разыскивая дом и поднимаясь в комнату, которую он снимал.

Над ним пять лет пронеслись, подобно раскаленному ветру, и выжгли в его внешности все молодое. Он сильно изменился, страшно. Был не тот, совсем не тот, кто в уже исчезнувшем варианте провожал меня утром в Амстельланд.

Ван Гог сидел за мольбертом, он нехотя поднялся, держа в руках палитру и кисть.

Его волосы, редкие уже тогда, отступили назад, совсем обнажив выпуклый лоб. Глубоко прорезанные морщины шли от крыльев носа к кончикам рта, щеки совсем провалились, азиатские скулы стали острее, придавая его лицу что-то жестокое, фанатичное. Борода и усы были запущены, видимо, он перестал следить за своей внешностью. В глазах, которые смотрели на меня из-под нахмуренных бровей, читалось упорство отчаяния.

Я сказал, что хотел бы познакомиться с его картинами и готов купить что-нибудь.

Недовольный тем, что его оторвали от работы — перед ним на маленьком столике был натюрморт с подсолнухами в майоликовой вазе, — он постоял, как бы приходя в себя, швырнул на подоконник кисть с палитрой, вынул из стеллажа несколько холстов, натянутых на подрамники, раскидал их по полу и отошел к раскрытому окну, сунув руки в карманы.

Я, честно говоря, не ожидал этой холодности. Мне думалось, он примет меня за благодетеля, станет, как в предшествующее посещение, уговаривать, объяснять. Но ничего такого не было. Он начал тихонько насвистывать какой-то мотив, оборвал и принялся затем постукивать пальцами по раме. Я заметил, что он стал теперь шире в плечах, каким-то более жилистым и жестким. Казалось, что если он ударит, то окончательно и насмерть. При этом он, правда, не огрузнел и спина осталась деревянно выпрямленной.

Ван Гог повернулся неожиданно, перехватив мой взгляд, и я опустил глаза к полотнам. Смотреть, собственно, мне было нечего, я их и так знал.

— Ну что же? — спросил он. — Не нравится?.. Тогда как угодно.

— Нет-нет, — ответил я. — Выбор сделан. — Это вырвалось у меня произвольно. Вдруг почувствовал, что не могу мурыжить его тем, что здесь закажу вещь, хранящуюся у брата, а уже из Парижа попрошу прислать что-нибудь из того, что он мне сейчас показывает.

— Выбрали?.. Какую же?

Я показал на «Сеятеля».

— Вот это?..

Он взял подрамник, перенес ближе к свету, поставил

на пол у стены и взгляделся. Лицо его потеплело, как у матери, которая смотрит на собственное дитя. Затем отвернулся от картины и сказал с вызовом:

— Я ценю свои вещи не слишком уж дешево. Например, эта стоит тысячу франков. Правда, немногим дороже кровати, за которую спрашивают семьсот и которой у меня нет.

Тут только я заметил, что в комнате нет кровати. В углу валялся свернутый матрас.

Он расценил мое молчание по-своему и горько усмехнулся.

— Да, некоторые воображают, что занятия живописью ничего не стоят самому художнику. На самом деле с ума можно сойти, когда подсчитываешь, сколько надо потратить на краски и холст, чтоб обеспечить себя возможностью непрерывной работы на месяц. Вы не думаете, я надеюсь, что такая вещь создается без размышлений, без поисков, без предварительных этюдов. Когда человек способен написать картину за три дня, это вовсе не означает, что лишь три дня на нее и потрачено. Истрачена целая жизнь, если хотите. Садитесь за мольберт, если вы мне не верите, и попытайтесь гармонизировать желто-красный с лиловым. Конечно, когда композиция готова, то, что на ней есть, может показаться само собой разумеющимся. Так же говорят о хорошей музыке либо о хорошем романе, которые будто бы обладают способностью литься сами собой. Однако представьте себе положение, когда ни картины, ни симфонии еще нет, когда их надо еще создать, а композитор или живописец берется за труд, отнюдь не уверенный, что избранное им сочетание вообще в принципе возможно... Одним словом, тысяча, и разговаривать больше незачем.

Я откашлялся, чувствуя невольную робость, и сказал, что цена мне подходит.

— Подходит?.. И вы готовы заплатить?

— Да.

— Заплатить тысячу франков? — Некоторое время он смотрел на меня, затем пожал плечами. — Почему?

— Ну как?.. Вы спросили тысячу. Вещь мне нравится.

Он прошелся по комнате и остановился у картины.

— Да, ей отдано много. — Затем в глазах его появилась тревога, мгновенно сменившаяся гневом. — Скажите, это не шутка? Здесь есть любители развлечься. Если вы пришли за этим, мне некогда. Я работаю.

— Ни в коем случае. — Я подошел к столику возле мольберта, вынул из кармана бумажник, отсчитал десять стофранковых билетов. И, скажу вам, это были не те деньги, что я привез из будущего, а полученные мною в ювелирном магазине. С привезенными, хотя вероятность была ничтожна, могла все же получиться неловкость. В конце концов они представляли собой дубли кредиток, существовавших здесь в 1888-м, и не исключалась ситуация, при которой одинаковые номера окажутся рядом. Правда, экспертиза в этом случае стала бы в тупик, поскольку оригиналами были и те и другие. Так или иначе, мне не хотелось подвергать Ван Гога риску, ему хватало собственных невзгод. — Кроме того, — сказал я, — меня заинтересовала еще одна вещь в Париже, в галерее Буссо. «Цыганские повозки». Если вы сообразовоите написать письмо, чтоб ее прислали, я мог бы подождать здесь, в Арле.

Опять был вынут бумажник, и я отсчитал еще пятьсот.

Подозрение на его лице постепенно сменилось недо-

умением, а затем растерянностью. Он несколько раз перевел взгляд с меня на деньги и обратно.

— Слушайте! Кто вы такой?

Я был подготовлен к этому вопросу и стал плести, будто действую не от себя, а по поручению богатого негоцианта из Сиднея, моего дяди. Негоциант дважды был в Париже — в прошлом и позапрошлом годах, — имеет там знакомых художников, много слышал о самом Ван Гоге и о его брате. Ему известно, что публика пока не признает новое направление, но у него свой вкус.

— Как его имя?

— Смит... Джон Смит. Дело в том, что дядя скромный человек. Он даже заглядывал в мастерскую Кромона, был на «Выставке Малого бульвара», но вряд ли к вам подходил.

— Не помню. — Ван Гог покачал головой. — Джон Смит... Ну ладно. — Он подошел к столику, нерешительно взял деньги, выдвинул ящик и положил туда. Посмотрел на меня, и этот взгляд, неожиданно робкий, на миг напомнил мне прежнего Ван Гога. Он отвернулся к стене, голос его звучал глухо. — Как странно. О таком я мечтал долгие годы — писать и иметь возможность зарабатывать этим на жизнь. Вот оно пришло, и я не могу обрадоваться. Но почему?

Он тряхнул головой.

— Я сегодня же напишу в Париж. А теперь извините... Вы, наверное, остановитесь в «Сирене». Мы могли бы увидеться вечером.

Городишко был пуст, солнце разогнало всех по домам. Я снял себе комнату в гостинице как раз над тем самым залом, который Ван Гог вскоре должен был изобразить на картине «Ночное кафе». Несколько часов

провалился на постели, отгоняя от себя мух, и когда жара спала, спустился на первый этаж.

Ван Гог сидел неподалеку от винной стойки. Я подошел. Вид у него был ожесточенный, он злобно ковырял вилкой в тарелке с макаронами. Я спросил, как здесь готовят, и он гневно отбросил вилку.

— Понимаете, мне долго пришлось жить очень неуютно, у меня вконец испорчен желудок. Если бы я ел хороший, крепкий бульон, я бы поправился. Но тут, в городских ресторанах, никогда не получишь того, что тебе надо. Хозяева ленивы и готовят только не требующее труда — рис, макароны. Даже когда заказываешь заранее, у них всегда есть отговорка, что забыли или что на плите не хватило места. И постоянно обсчитывают. Сначала я жил тут наверху, за месяц с меня потребовали на двадцать франков больше, чем следовало. Но ведь я не богатый бездельник. Я работаю больше, чем все они тут, с моей стороны было бы безволием позволить себя эксплуатировать. Я пошел к мировому судье, и он приговорил двадцать франков в мою пользу. Но все равно мошенничество продолжается — не станешь ведь обращаться в магистрат из-за каждого пятидесяти сантимов. В результате я полтора месяца обходился без матраса и был вынужден приходить сюда ночевать, хотя уже снял себе комнату... Вообще, в Арле считают своим долгом обманывать каждого чужого. Особенно если ты художник, тебя считают либо сумасшедшим, либо миллионером. За чашку молока дерут целый франк.

Я заказал пива. Хозяин, толстый, с одутловатым белым лицом, принес его только минут через пять. Ресторан постепенно наполнялся. За столиком, где собрались игроки в карты, началась пьяная ссора,

Ван Гог презрительно усмехнулся.

— Человечество вырождается. Я сам прекрасное подтверждение этому — в тридцать пять лет уже старик. Понимаете, одни работают слишком много — крестьяне, ткачи, шахтеры и бедняки вроде меня. Этих гнетут болезни, они мельчают, быстро старятся и умирают рано. А другие, как вот те, стригут купоны и деградируют от безделья. Но так не может продолжаться. Слишком много тяжелого сгустилось, должна грянуть гроза. Хорошо хоть, что некоторые из нас не дали себя одурманить фальшью нашей эпохи. Это поможет грядущим поколениям скорее выйти на свободный, свежий воздух.

Мы выпили, и он осмотрелся.

— Интересно, кто придумал сделать здесь эти красные стены. Комната кроваво-красная и глухо-желтая, с зеленым бильярдом посередине. Получается столкновение наиболее далеких друг от друга оттенков. Иногда мне кажется, что тут можно сойти с ума или совершить преступление... В человеке намешано так много. Хотелось бы все это выразить, передать, но теперь я боюсь, что не успею. Ваш дядя знает, как существуют непризнанные художники в Париже. Я нажил там неврастению. Бывает, что с утра не можешь взяться за кисть, пока не выпьешь кофе и не накуришься. Но искусственного подъема хватает ненадолго, снова кофе и трубка, периоды работы все уменьшаются, приходишь к тому, что каждая новая чашка дает тебе один-единственный мазок... Страшная штука плохое здоровье. Из-за него я не встаю больше против установленного порядка. И не потому, что смирился, — просто сознаю, что болен, что нет сил и они уже больше не придут.

Я расплатился за вино, мы встали и, разговаривая,



прошли через город к полям. Дорогой он сказал, что уже отправил письмо и что, если оно застанет брата на месте, посылка с картиной прибудет через шесть дней.

Солнце спускалось, перед нами было море пшеницы, а справа зеленели сады.

— Конечно, сейчас мне прекрасно работать, — сказал Ван Гог. — Это все благодаря брату. Никогда раньше я не жил в таких условиях, и если ничего не добьюсь, это будет только моей виной. Здесь удивительно красивая природа. Посмотрите, как сияет небо-свод... И вот зеленовато-желтый дождь солнечных лучей, который струится и струится сверху на все. А кипарисы с олеандрами какие-то буйнопомешанные. Особенно в олеандрах немислимо закручена каждая веточка и группы ветвей тоже. У меня два раза было, что, выбравшись на этюды, я терял сознание от нестерпимой красоты.

Ван Гог позволил себе отдохнуть в тот вечер, мы еще долго бродили. Часто он совсем забывал о моем присутствии, затем, вспомнив, обращался ко мне с каким-нибудь малозначащим замечанием, задавал вопрос и не выслушивал ответа, углубляясь в себя.

Вообще, в нем была теперь какая-то отрывистая гордость, чуть презрительная и разочарованная. Как будто он знал себе цену, но потерял надежду убедить мир в чем-нибудь. Тогда в Хогевене Ван Гог не был уверен, что его произведения хороши, но полагал, что упорный труд позволит ему добиться успеха. В Арле стало наоборот. Он твердо знал, что стал настоящим художником, но уже не верил, что его когда-нибудь признают. Он очень легко раздражался; излечению его неврастении отнюдь не способствовали стычки с квартирной хозяйкой, владельцем ресторана, зеваками, что

тотчас собирались вокруг, если он принимался набрасывать рисунок где-нибудь в городе. Мне кажется, окружающие даже несколько побаивались его.

Получив от меня крупную по тем временам сумму, он начал оттаивать и меняться удивительно быстро. Купил себе кровать — правда, не за семьсот, а подешевле, за четыреста франков. Нанял женщину, которая стала готовить ему. В глазах появилось что-то теплое, щеки порозовели, он перестал отвечать взрывами бешенства на мелкие уколы со стороны. И продолжал работать. Работать с ожесточением, какого я отродясь и не видел. С утра ящик с красками в одну руку, подрамник в другую, мольберт за спину — и на этюды. А если был дома, то писал. В комнате его можно было увидеть только с палитрой и кистями, как будто он не спал, не ел вообще ничего. Сознывая, что начал поздно, он стремился сжать, вместить в год или два то, на что у других уходит долгая творческая жизнь.

Посылка от брата между тем все не шла. Из Парижа сообщили, что письмо Винсента направлено в Антверпен, но получилось, что оно попало туда, когда адресат выехал. Мне оставалось только ждать, от скуки я несколько раз увязывался с Ван Гогом в его походы. Исподволь я начал ему симпатизировать, мне хотелось исправить некоторые уж слишком очевидные недостатки в его манере писать. Но из этого ничего не вышло.

Однажды, например, я сказал, что роща на заднем плане его этюда вовсе не такова по цвету, какой он ее сделал, и что никто никогда не видел таких, как у него, завинченных деревьев и завинченных облаков.

Он спросил, выпадает ли роща из общего фона того, что он делает. Когда я признал, что из его фона не выпадает, он объяснил:

— Начинаешь с безнадежных попыток подражать природе, все идет у тебя вкось и вкривь. Однако наступает момент, когда ты уже спокойно творишь, исходя из собственной палитры, а природа послушно следует за тобой. Разумеется, в любой моей вещи есть промахи, но зато я твердо знаю, почему я пишу так, а не иначе. Я могу быть не уверен в своей технике, но у меня всегда есть жизненность, которая, по-моему, должна отодвигать ошибки на задний план...

Наконец на исходе второй недели, когда я уже начал дрожать, Ван Гог разыскал посланный с почты мальчишка. Пять сотен франков были присоединены к первым полутора тысячам, и вечером мы отправились в «Сирену». Ван Гог был очень оживлен, показал мне письма от Гогена, сказал, что ожидает его теперь в Арль. Он спросил, нет ли среди моих друзей и знакомых дяди такого человека, который тоже заинтересовался бы произведениями импрессионистов. Я ответил, что это не исключено, и глаза его зажглись. Он заговорил о том, что, если бы удавалось продавать хотя бы по три картины в год, он мог бы обеспечить не только себя — ему лично надо не так много, но снять маленький дом, где найдут приют и другие бедствующие художники, которые нередко гибнут от нищеты, кончают с собой или попадают в сумасшедший дом. Планы роились, уже дело дошло до того, что будет открыта собственная небольшая галерея в Париже, которой может руководить Теодор, что торговля картинами будет вырвана из рук коммерсантов и подлинное искусство начнет распространяться в народе.

Мы осушили три бутылки дрянного вина, ресторан уже опустел, хозяин сонно поглядывал на нас, опрокидывая стулья на столики.

Ван Гог умолк, взгляделся мне в лицо и тихо-тихо спросил:

— Скажите, а это правда?

— Что именно?

Он сделал жест, обводя зал, где половина газовых рожков была уже погашена.

— То, что сейчас происходит... Вы появились так внезапно. Ваш приезд так неожидан и так выпадает из всего, что было до сих пор. Мне сейчас вдруг показалось, что деньги, полученные от вас, могут неожиданно исчезнуть и все останется, как прежде... Понимаете, конечно, я не великий художник, у меня не было возможности учиться рисовать и не хватало таланта. Но, с другой стороны, вряд ли есть еще человек на земле, кто до такой степени не имел бы ничего, кроме искусства. Я не помню спокойного дня в своей жизни. Дня, чтоб меня не мучили угрызения совести перед братом, на плечах которого я повис тяжелой ношей, чтоб меня не терзал голод либо необходимость платить за жилье, невозможность купить красок или нанять натурщика. Ведь не может быть, чтоб такая преданность ничего не стоила и никем не была оценена?

Черт возьми! Вы знаете, он оказался настоящим провидцем. Деньги, полученные им от меня, действительно исчезли, все стало как прежде, потому что мне пришлось в третий раз снять Петлю. Сдернуть ее, несмотря на то, что в переписке между братьями мое посещение фигурировало как важнейшее событие года. При том, что Ван Гог пятьсот франков послал Гогену с подробнейшим рассказом, откуда они взялись...

Но по порядку. Я вернулся из Арля в Париж двадцать пятого, зашел там опять в галерею Буссо. Не потому, что собирался выписать еще одну картину из

Арля — на это уже не было времени, — а просто так. Хотел посмотреть на Теодора — уж очень много слышал о нем и читал. Я заглянул в первый зал и сразу узнал его, потому что братья были похожи. Только младший оказался больше ростом, мягче, и можно было догадаться, что этот человек ни разу в жизни никого не обидел. Он разговаривал со служителем. Я постоял, делая вид, что заинтересовался «Купальщицами» Ренуара, висевшими тут же, и потом ушел.

Кстати, он меня тоже узнал — по описанию в письме Винсента — и, в свою очередь, сообщил в Арль о моем коротком визите.

В тот же вечер я пришел на место вызова и благополучно вынырнул к себе. Опять всевозможные ванны, массажи. Заглядываю в «Письма», там все в порядке. Перелистываю монографию о Ван Гогге, убеждаюсь, что тут тоже появились изменения. Сказано, что в июне 1888 года в Арль приехал молодой иностранец, купил у художника две картины и несколько рисунков, след которых, к несчастью, с тех пор затерялся. С «иностранцем» мне все ясно — Ван Гоггу, естественно, показался странным мой современный французский язык, я объяснил ему, что моя мать была француженка, но воспитывался я в Сиднее. А с рисунками исследователь ошибся. Я забыл вам сказать, что в последний вечер Ван Гог набросал мой портрет карандашом, который тут же отдал мне. И все.

Забираю, одним словом, «Сеятеля» с «Цыганскими повозками», кладу в папку рисунок и отправляюсь в тот, первый салон. Что же вы думаете?.. Уже через полчаса я мчался в Институт. Мчался, как если бы за мной целым взводом гнались полицейские на мотоциклах.

Понимаете, пришел и попадаю на усатого старика. Он берет картины и рисунок, вертит, нюхает, чуть ли не пробует на зуб. Я тем временем повествую о древнем чердаке. Он кивает, да-да, мол, понятно, картины упоминаются, в письмах есть подробные описания каждой. Говорит, что сам всю жизнь посвятил изучению творчества Ван Гога и не может не признать, что рука его. Потом берет «Цыганские повозки» — не «Сеятеля», а именно «Повозки», — нажимает кнопку в стене. Шкаф с книгами отъезжает в сторону, открывается ниша, в которой аппарат, определяющий время изготовления того или иного произведения искусства. Лучи, углеродный или там другой анализ.

Представьте себе, на экране возникает надпись: «Порядок — до ста дней».

Как вам это нравится? Сто дней, то есть три месяца с того момента, когда краски положены на холст. Оно, в общем, и соответствует действительности, поскольку «Цыганские повозки» Ван Гог написал за два месяца до моего приезда к нему. Но я перенес вещь сразу через нулевое время, краски и в самом деле старились из-за этого не сто лет, а только сто дней.

Насчет «Сеятеля» же старик говорит, что наиболее пастозные места вообще не высохли и липнут. Но при этом он, видите ли, не сомневается в подлинности, а что касается портрета, то изображен, несомненно, я.

И смотрит на меня, спрашивая взглядом, как это все понимать.

Но ведь о существовании Временных Петель всем было известно. По интервидению хотя бы раз в неделю передают какой-нибудь фильмишко, украдкой снятый из-за кустов или с помощью сверхтелеобъектива с безлюдных скал. Каждый знает, что путешествие в прош-

лое возможно, хотя и разрешается только в исключительных случаях.

Я тогда скромненько забираю все свое имущество, ни слова не говоря, поворачиваюсь — и ускоряющимся шагом на улицу. Счастье мое, что все научные сотрудники Института в тот момент слушали доклад в конференц-зале. Врываюсь, хватаю ошеломленного Кабюса за шиворот. Отдышался только, когда из камеры вылез.

За нарушение Закона об Охране Прошлого по головке не гладили. Я бы и костей не собрал в случае чего. Вполне могли взять и двинуть в меловой период без обратного вызова. Так, между прочим, тогда и поступали с рецидивистами — не можешь жить среди людей, давай к пресмыкающимся, за сто или сто двадцать миллионов лет до современности. Там не замерзнешь в тропическом предледниковом климате, пропитаешься растениями. Но словом не с кем перемолвиться, скука, и в конце концов сам предложишь себя на полдник какому-нибудь тиранозавру. А если преступников было двое, размещали с небольшой временной разницей — одного в такой-то момент, а другого только на сто лет позже.

Правда, в моем случае учли бы молодость. Так или иначе обошлось. До сих пор не знаю, позвонил ли старикан-искусствовед куда надо было. Скорее всего, да. Если так, за мной и на самом деле гнались, но не успели. Как только я сдернул завиток, «Сеятель» мгновенно оказался опять в галерее в Цюрихе, «Цыганские повозки» — в Лувре, рисунок дематериализовался, всякое упоминание о моем визите в Арль исчезло из писем. И мое посещение салона на бульваре Сен-Мари осталось существовать лишь у меня в памяти как альтернативный вариант, сменившийся другим.

Но тут, признаюсь вам, у меня опустились руки. Что касается Кабюса, он вообще лежит пластом. Да и сам я чувствую, что стена — даже если привезешь что-нибудь ценное из удаленных назад веков, все равно Петля сократит время, и либо тебя в подделке обвинят, либо поймут, что связан с Институтом. Как ни крути, выходит, что давность лучше не трогать и политики не зря отказались. А вместе с тем жалко ужасно. Вот оно, прошлое, рядом. Пока Кабюс в Институте, все мое — от двадцатого века до первого и дальше туда за великие китайские династии, за греческие ладьи, плывущие к Трое, за башни Ассирии и египетские пирамиды. Можно метнуть в пиратские времена, раскопать сокровища Кидда; хоть золото ничего не стоит, за старинные дублионы или древний кинжал немало отвалили бы ЕОЭнов. Но как добиться, чтобы они так старыми и остались, — никак ведь не добьешься.

Мои собственные накопления чуть ли не все истрачены, за три посещения ухнул пятьдесят тысяч Единиц Организованной Энергии. И вы знаете, как это бывает — еще каких-нибудь четыре месяца назад жил вполне довольный своим положением, на окружающих смотрел свысока, собой гордился, а теперь места не нахожу. И коттедж и свой личный флайтер последней модели — все опротивело, чувствую себя нищим по сравнению с тем, что мог бы иметь в случае удачной операции.

Хожу, кусаю губы. И как раз через неделю после моего возвращения утречком по телевидению сообщают о замечательной находке под Римом. Археолог-дилетант, копаясь в окрестностях Вальчетты, обнаружил в развалинах древнего храма погребенный под землей ход в стене, тайник, а в нем целую коллекцию превос-



ходнейших античных камней — знаете, такие резные камни с рельефным изображением. Находка датируется двухсотыми годами до нашей эры — в этом сходятся мнения искусствоведов и показания прибора.

Вот, думаю, везет некоторым. А тут можешь прыгать в прошлое, и то ничего.

Приносят газеты. На первой странице заголовки о чудесных камнях Вальчетты. Высказывается предположение, что это часть сокровищ какого-нибудь римского сенатора эпохи цезарей, который в смутное время избиений и казней решил ее припрятать. Тут же портрет человека, который раскопал потайной ход. Физиономия у него весьма решительная, как-то мало похожа на археолога-любителя. В аппарат не глядит, опустил глаза, стараясь прикинуться овечкой, а у самого рожца — бр-р-р-р-р!

Вечером вдруг звонит Кабюс. Пришел, сел. Мялся, мялся, потом говорит:

— Дураки мы с тобой.

— Почему?

— Да потому, что не надо было тащить картины Ван Гога в Камеру. Нужно было там их и оставить, в прошлом.

— Какой же смысл?

Он не торопясь берет газету с фотографией того счастливец с камнями. Смотрит на нее.

— Знаю этого типа. Он ко мне приходил еще до тебя. Только я побоялся связываться. С полгода назад было.

Тогда я хлопаю себя по лбу, потому что начинаю понимать. Парень нашел дорогу в итало-американскую Временную Петлю. Спустился в Рим эпохи цезарей, организовал там эти камеи — скорей всего действи-

тельно у какого-нибудь сенатора. Потом не стал возвращаться с ними через Камеру, а там же пошел в Вальчетту, разыскал храм, относительно которого ему было точно известно, что строение достоин до нашего времени. И ночью, чтоб никто не видел, запрятал свою добычу. Потом спокойно вынырнул в современность, раздобыл себе эти кисточки, которыми археологи орудуют, поехал в Вальчетту уже автомобильной дорогой, облачился в синий халат, взял лопату, поплевал на ладони и на следующий день поднял крик о находке. Конечно, для таких вещей надо иметь характер — в древнем Риме с подвыпившими гладиаторами и всяким городским жульем зевать после захода солнца не приходилось. У вельможи, естественно, были телохранители, да и римская стража долго разговаривать не любила. Но, как говорится, волков бояться — в лес не ходить. Получилось, что камен сквозь Камеру не прошли, две тысячи лет пролежали в стене, состарились, что и было показано аппаратами.

Думаю это я так, а потом обрываю себя. Но ведь ход и вообще все это место ученые тоже обследовали. Могли же понять, что раскоп свежий... И тут же поправляюсь. Нет, неверно. Важно не то, когда он раскапывал, а время создания тайника. А ход был в стене сделан именно двадцать столетий назад. Он ведь там его пробил, в первом веке, там же и заложил.

Вся проблема становится с головы на ноги. Доставлять ценности из прошлого в настоящее все-таки можно. Только надо их прятать там, а «находить» здесь...

Что вы говорите?.. «Почему не заподозрили этого молодца при его внешности?» Да потому, что вообще таких жуков, как «археолог» и мы с Кабюсом, мало осталось в мире. Народ стал доверчивый, все друг

к другу отлично расположены, все открыто, заходи чуть ли не куда угодно. Это в моем случае уж слишком очевидно было, поэтому усатый старик так и смотрел.

Ну, не важно. Опуская подробности, скажу, что через двадцать суток я опять был в прошлом веке, точнее — в мае 1890 года, на окраине маленького городка Сен-Реми, где Ван Гог приютили в доме для умалишенных. Собственно, можно было отправиться вторично в один из двух периодов, мне известных, но все-таки я видел художника, когда он только начинал заниматься живописью, посетил и в середине пути. Теперь имело смысл посмотреть, каким Ван Гог будет к концу своей жизни, иначе осталось бы чувство незавершенности. Однако самым важным соображением было, конечно, то, что именно в июле он завершил два наиболее знаменитых полотна: «Звездную ночь» и «Дорогу с кипарисами». На них я и прицелился — после всех неудач и бесполезных трат нас с Кабюсом мог выручить только большой куш.

Снова утро. Страж у ворот пропускает меня, ни о чем не спрашивая. В передней части парка аллеи расчищены, дальше запущенность, глушь. Вишня, за которой никто не ухаживает, переплетается с олеандрами, кусты шиповника спутались с дикими рододендронами, а на повороте тропинки, по которой я двинулся вглубь, стоит огромный засыхающий каштан, и его желтые, как осенью, листья застряли в космах перепутанной, некошенной травы. Женщина с корзиной белья попадаетеся навстречу, я спрашиваю, где мне найти Ван Гог. Это прачка, с мягким, робким выражением лица и большими красными руками. Она уточняет, имею ли я в виду того, «который всегда хочет рисовать», машет рукой в сторону здания, желтеющего вдали сквозь листву, и

называет номер палаты — шестнадцать. Я пошел было, женщина меня окликает и говорит, что сегодня Ван Гогу будет трудно кого-нибудь видеть — совсем недавно был припадок. Я хлопаю себя по карману и объясняю, что тут для него найдется утешение.

Желтое здание оказалось отделением для буйных — окна изнутри забраны решетками. Но двери центрального входа широко распахнуты — как те, в которые я вошел, так и с противоположной стороны главного корпуса. В длинном коридоре все палаты тоже открыты — с двумя, с тремя или даже пятью постелями. Блестит только что вымытый кафельный пол, ведро с тряпкой оставлено у стены, а со второго этажа слышны негромкие голоса двух женщин. Прикидываю, что выдался, вероятно, спокойный день, больные отпущены в сад, а обслуживающий персонал занят уборкой. Сквозняки гуляют по всему дому. Не сказать, что обстановка гнетущая, но щемят небрежно распахнутые двери — ими подчеркивается, что у обитателей комнат нет уже ничего личного, своего, неприкосновенного. Я прошагал весь коридор, повернул, оказавшись теперь уже в одноэтажном флигеле, дошел до конца флигеля и тут увидел номер шестнадцать.

Дверь приоткрыта, стучу, ответа нет. В комнате койка, покрытая серым одеялом, табурет в углу. На подоконнике рассыпаны краски, рядом висит знакомый мне трехногий мольберт. Тут же куча холстов, внизу я увидел высунувшийся запыленный край «Звездной ночи».

Я сел на табурет и стал ждать. Издали доносились едва различимые звуки рояля — кто-то начинал и начинал жалобную мелодию, но, взяв несколько аккордов, сбивался, останавливался и брался снова.

Затем в коридоре послышались шаги, они приближались, я встал в своем углу.

Ван Гог вошел, пусто посмотрел на меня, медленно прошествовал к окну. И, признаюсь вам, мне стеснило сердце.

Я бы сказал, что он был смертельно ранен. Драма с Гогеном, сумасшедший дом в Арле, куда художника дважды заключали, продолжающаяся невозможность добиться признания — все это за два года прошлось по нему, как автоматная очередь. Виски его поседели, спина сгорбилась, синие круги обозначались под глазами, которые уже не жгли, а, прозрачные, смотрели туда, куда другие не могли заглянуть. На нем был казенный халат, и я вспомнил по «Письмам», что приют для умалишенных именно в Сен-Реми был избран потому, что плата за содержание составляет здесь один франк в день и больных одевают за счет заведения — дела Теодора после короткого периода сравнительного благополучия опять пошли плохо, братьям приходилось экономить каждое су.

Все так, и при этом странное отрешенное величие было в его фигуре. Я смотрел на него и вдруг почувствовал, что уважаю его. То есть колоссально уважаю, как никого на свете. Понял, что уже давно начал уважать — со второй, а может быть, даже с первой встречи. Пусть он не умеет рисовать, пусть лица мужчин и женщин на его картинах картофельного цвета и с зеленью, пусть поля и пашни вовсе не таковы, какими он их изображал. Но все равно в нем что-то было. Что-то такое, по сравнению с чем многое делалось подсобным и второстепенным — даже, например, атомная энергия.

Я превозмог свой трепет и стал говорить, что могу

дать огромные деньги за его последние картины. Такую сумму, что он и брат не только снимут дом, но купят. Что они приобретут даже целое поместье, что будут приглашены самые замечательные врачи, которые поправят его здоровье и вылечат от припадков сумасшествия.

Он выслушал меня внимательно, потом поднял глаза, и его взгляд пробил меня насквозь.

— Поздно, — сказал он. — Теперь уже ничего не надо. Я отдал своей работе жизнь и половину рассудка. — Он посмотрел на груды холстов, с трудом нагнулся и бережно рукавом вытер пыль с верхнего. Это были «Белые розы». Губы его дрогнули, и он встряхнул головой. — Иногда мне кажется, что я работал, как должно. Что больше было бы не в силах человеческих и что этот труд должен принести плоды.

Затем он повернулся ко мне.

— Идите. У меня мало времени, я хочу еще написать поле хлебов. Это будут зеленые тона равной силы, они сольются в единую гамму, трепет которой будет наводить мысль о тихом шуме созревающих колосьев и о человеке, чье сердце бьется, когда он слышит это

Последние слова прозвучали совсем тихо. Неловким движеньем он повернул мольберт к свету.

И, скажу вам, я отступил, не произнося ни звука, поклонился, вышел в коридор, проследовал через заброшенный сад в город, на вокзал — и был таков. Тихо и скромно, как свечка. Конечно, проще простого было дожждаться, когда Ван Гог выйдет за чем-нибудь из комнаты, зайти туда на одну минуту и взять, что надо. Никто не стал бы меня останавливать в воротах. Никто не спросил бы, что я несу, а место в Сен-Реми,

где холсты спокойно пролежали бы столетие, было уже подготовлено.

Но не смог. Не смог, даже понимая, что самому Ван Гогу несколько тысяч франков, оставленных на подоконнике, принесли бы больше пользы, чем два его полотна.

Вернулся в столицу Франции и прыгнул обратно к себе. Кабюс встречает меня у Камеры трепещущий, жадно смотрит на чемоданы. Но, правда, в поезде мною уже был подготовлен план, который я тут же и изложил. Объяснил Кабюсу, что не способен больше беспокоить ни самого художника, ни его родственников — пусть так и проживут, как прожили. Теперь надо действовать по-другому. Поскольку мы все знаем и понимаем, в наших силах совершить грандиознейшую аферу, которая не только вернет затраченное, но обогатит нас на всю жизнь. Не будем тянуть по одной-две картины. Следует избрать время, когда художник знаменит, письма давно изданы и с его вещей сделано множество репродукций. Например, конец тридцатых годов нашего века — произведения искусства уже дороги, но все равно в десятки раз дешевле, чем в 1996-м. Главное же то, что мы станем за них платить товаром, который в наше время почти ничего не стоит, — золотом.

Понимаете, меня осенило, что я вообще напрасно путался с подготовкой приличного костюма, доставанием современных Ван Гогу денег и всяким таким. Ведь можно было явиться в старый Париж чуть ли не в рубище, в первом попавшемся ломбарде заложить золотое кольцо, на полученные деньги одеться, продать затем браслет в ювелирном магазине, купить собственный выезд и так далее по возрастающей.

При этом никакого риска, что попадешься, поскольку ничто из тобой предлагаемого не является ворованным и не разыскивается. Простая контрабанда, но не через пространственную, а через временную границу.

Продав я свой флайтер, заложил дом. Кабюс тоже где-то раздобыл ЕОЭнов или, во всяком случае, сказал, что раздобыл, — тут в целом была неясность. Понимаете, проверить энергетический баланс Института я не мог, а без этого как узнаешь, добавляет ли он вообще что-нибудь к моему вкладу. Известно было, что поездки в прошлое требуют огромного количества энергии, но какого именно, зависело от периода. С другой стороны, ему ничто не мешало сказать, что его доля больше моей или такая же, а он всегда говорил, что меньше. Правда, не очень-то я этим интересовался — пусть он даже втрое против меня заработает. Завидовать я вообще никому не завидовал, а тот парень с камнями меня расстроил только потому, что моя глупость вдруг оказалась очевидной... Наличных, кстати, я у Кабюса никогда не видел.

Ну ладно. Прежде всего взяли мы два плана Парижа — тридцатых годов и 1996-го. Задача состояла в том, чтобы найти здание — по возможности небольшое и обязательно принадлежащее частным лицам, — которое простояло бы последних лет шестьдесят без существенных изменений. Искали-искали и нашли. В старину место называлось проездом Нуар, в наше время — бульваром Буасси. Одноэтажный, но довольно массивный домик, который чудом удержался возле прозрачных громадин, ограничивающих Второй Слой с юга. Съездили туда, там, естественно, никто не жил. Мгновенно договорились с владельцами, что сни-



мом его на полгода — они и деньги отказались с нас за это получать.

Недели за две я разместил заказы и собрал килограммов шестьдесят золотых и платиновых украшений с алмазами, сапфирами и прочим. Набил два таких чемодана, что далеко не унесешь. Кабюс приготовился, чтобы в ближайшие дни перебраться в тот домик, наладил мне Камеру — уже четвертый или пятый раз, не помню, — и ваш покорный слуга двинул в свое последнее, решающее путешествие, в год 1938-й. Я выбрал именно 38-й, чтобы не попасть к началу второй мировой войны, когда всем станет не до картин.

В общем-то, все было мне привычно. Без особых волнений возник со своим багажом ночью на бульваре — при мне отлично сфабрикованный паспорт с несколькими заграничными визами. Поехал на вокзал, взял билет до Брюсселя. Оттуда перекочевал в Роттердам, пароходом в Лондон, из Лондона на Гамбург, Кёльн, Лозанну в Швейцарии и опять в Париж. Мотался по Европе больше двадцати двух дней и за это время превратил все привезенное из 1996-го в наличные деньги. Вызвал даже панику на рынке драгоценностей — представляете себе, вдруг выбрасывается такое количество товара сразу.

В Париже разыскал проезд Нуар и наш домик. Хозяева оказались предками молодой женщины, которой предстояло владеть им через шесть десятилетий, но, само собой разумеется, были совсем другие люди. Я объяснил, что пишу роман, что нравится атмосфера старины и хотел бы поработать тут в полном одиночестве. Предложил тысячу франков за месяц — они не пожелали со мной разговаривать. Пообещал пять — они задумались, а когда сказал, что не постою и за

пятнадцатую, спросили, можно ли им остаться еще до вечера.

Место было лучше не придумаешь. Уличка пустая, безлюдная, одни только кошки греются на солнце, да шмыгают из подворотни в подворотню. Дом стоит чуть в глубине, за ним глухая стена ткацкой фабрики, с одного боку склад, с другого — унылый сад сплошь в крапиве. Тут даже во дворике можно было б зарыть в землю целый Кёльнский собор, и никто бы не заметил.

Въехал, разложил по комнатам свое имущество, зашторил окна, спустился в подвал. Смотрю, здесь пол тоже выстлан досками — это для меня и лучше. Набрал себе постепенно инструментов и взялся за работу. Снял доски, принялся вырубать в кирпичном фундаменте тайник. Тогда как раз появились в продаже первые ламповые радиоприемники — громоздкие такие ящики, несовершенные, с хрипом, сипеньем. Зафугуешь эту махину наверху на полную мощность, а сам внизу долбаешь. Вручную, конечно. В ту пору даже электродрели не было. А кладка слежавшаяся — строили на века. Это в мое время стало, что лишь бы строение от ветра или сейсмических колебаний не свалилось да чтобы светло и уютно. А тогда запас прочности давали раз в двадцать больше, чем надо. Сперва шлямбур поставишь и лупишь по нему кувалдой. Потом ломом зацепляешь кирпич, наваливаешься, и он лезет со скрипом, как коренной зуб. По кирпичу в час у меня получалось, не больше. Иной раз так намахаюсь, что плечевой пояс весь звенит и в пору устраивать забастовку, требовать сокращения рабочего дня.

Возился я, возился — и сам все думаю: ведь небось через шестьдесят лет вперед в этот миг Кабюс сидит с женой в подвале, и оба ждут, что вот-вот про-

ступит по кирпичам линия тайника. Интересно так было, что вот я здесь, они там, в одни и те же моменты, в одном и том же месте, но через время. Я чего-то сделаю, а там отражается.

Долго ли, коротко, но дело было сделано. Почистился и временно перебрался на жительство в отель «Бонапарт» неподалеку от Люксембургского сада, где могли предложить действительно необыкновенные для той эпохи комфорт и удобства.

Отдохнул и вышел в город.

Лихорадочное какое-то было времечко вот этот октябрь предвоенного 1938-го. Недавно Деладье вернулся из Мюнхена и заявил на аэродроме, что он и Чемберлен «привезли Европе мир». Чехословакию отдали германскому фюреру, который с трибуны рейхстага торжественно заявил, что его страна не имеет больше никаких территориальных притязаний к кому бы то ни было. А Риббентроп, фашистский министр иностранных дел, тем временем пригласил к себе польского посла в Берлине Липского, чтобы потребовать от Польши город Гданьск, или Данциг, как он тогда назывался.

Но Париж еще не знал этого и праздновал наступление обещанной мирной эпохи. На Елисейских полях стоял чад от автомобилей, светящимися крыльями вертела новая «Мулен-Руж», в своих первых фильмах снялся этот, как его... Жан Габен. Юбки постепенно делались короче, но то были, естественно, не мини-юбки, до которых оставались еще десятилетия. Народный фронт отгремел, ничего не боясь, буржуа отплясывали «суинг» в ночных ресторанах. Лилось шампанское, вошел в моду кальвадос, который воспел потом Ремарк в романе «Триумфальная арка».

И конечно, Винсент Виллем Ван Гог был уже в

полной славе своей. Все-таки он добился признания, мой вечный неудачник. Лицо, которое я так хорошо знал, появилось на страницах журналов, газет, даже на афишных тумбах. Печатались многочисленные статьи о нем, книги. Цветная фотография позволила заново репродуцировать его произведения. Несколько подлинников висело в Музее Родена, в Музее импрессионистов, а в Лувре как раз открылась большая выставка, куда было свезено около четырехсот вещей из Лондона, Нью-Йорка, из ленинградского Эрмитажа, Бостона, Глазго, Роттердама, из московского Музея изящных искусств, из бразильского города Сан-Паулу, даже из Южной Африки и Японии. То, что он писал и рисовал рядом с деревянным корытом или на холоде, дуя на замерзающие пальцы, то, что сваливал под ободранную койку или, голодный, с пустым, урчащим брюхом, волок на себе, перебираясь из трущобы в хижину, опять в трущобу и в сумасшедший дом, распространилось теперь по всем континентам, по всему миру. Эскизы, которые он набрасывал, упрашивая моряка или проститутку постоять несколько минут, композиции, что начинал, судорожно высчитывая, хватит ли денег на ту или иную краску, повсюду висели на почетных местах, путешествовали только на специальных самолетах и в специальных вагонах, многочисленная охрана сопровождала их во время перевозок. На открытии выставки в Лувре исполнялись государственные гимны, а ленточку перерезал посол республики Нидерландов об руку с министром просвещения Франции. Действительно, сбылись слова, услышанные мною тогда, в последнее свиданье, — что труд его принесет плоды. Ей-богу, мне хотелось, чтоб хоть краешком глаза он мог увидеть вспышки магия во время торжественной церемонии.

очереди, что стояли с утра до вечера у входа в левое крыло музея, услышать звуки оркестра и разговоры в толпах. Но все это было невозможно, как невозможны вообще для человека путешествия в собственное будущее. Ван Гога уже полвека не было на земле, никакая сила не могла вырвать его из скромной могилы в Овере, где рядом с ним лег его брат.

Сам я между тем в силу неясного мне чувства все откладывал и откладывал первое посещение выставки. Пора было приниматься за переговоры относительно покупки картин, но я медлил. Задумчивое настроение овладело мною, было так приятно гулять осенними старыми улицами, выпивать стаканчик вина в маленьких кафе — некоторые рецепты, к сожалению, утерялись теперь, — слышать одинокий звук гитары из глубины сырого двора, улавливать запахи осенних листьев, которые, собрав в кучки, сжигали в садах и скверах. Во мне пробудилось ощущение истории; сравнивая Париж этой осени с тем, каким он был в 1888 и 1895 годах, со спокойной грустью я отмечал неумолимый ход времени. Город, правда, еще оставался старым городом, не существовало пока однообразных новых кварталов и всей системы перекрещивающихся многослойных дорог, которую стали создавать в семидесятых.

Вот так прогуливаясь, однажды утром я забрел на маленькое кладбище. Было светло, солнечно, пели птицы. Знаете, как у них бывает — начнет одна, затем, будто опомнившись, присоединяются еще две-три, а к этим целый десяток. Минуту длится концерт, внезапно все умолкает, и так до того мгновенья, когда кто-то опять не нарушит тишину. Я сел на скамью, прошла нянька с девочкой, неподалеку взад-вперед шагала тощий молодой поэт, шепча про себя стихи.

Почему-то здесь мысль о смерти не казалась отталкивающей.

Я посмотрел на скромный каменный крест передо мной и увидел надпись: «Иоганна Ван Гог-Бонгер. 1862—1925». Понимаете, это была могила жены Теодора. Той, о которой Ван Гог говорил в письмах как о «дорогой сестре». Той женщины с испуганным взглядом.

Значит, она умерла, сказал я себе. Впрочем, удивляться тут было нечему. Как-никак со времени моего знакомства с ней прошло больше четырех десятилетий. То есть прошло, как вы сами понимаете, для нормальной жизни, для исторического развития, но не для меня, который приехал в 1938 год примерно таким же двадцатипятилетним болваном, каким приходил тогда на улицу Донасьон в 1895-м.

Поднявшись со скамьи, я подошел ближе к чугунной оградке. Чуть покачивались ветки разросшегося жасмина, крест окружали три венка из искусственных цветов, заключенные в стеклянные футляры по обычаю начала этого века. Я нагнулся, чтобы разобрать слова на полуистлевшей ленте, внезапно дрожь прошла по моей спине, а горло сжалось.

«ВЕРНОСТЬ, САМООТВЕРЖЕННОСТЬ, ЛЮБОВЬ» — вот что там было написано.

И это ударил первый гром. Я выпрямился, закусил губу. Неплохая была семья Ван Гоги. Один рисовал, другой, отказывая себе, поддерживал его, а третья не позволила миру пропустить, бросить незамеченным то, мимо чего он уже готов был равнодушно пройти. Я вспомнил Иоганну, ее чуть вытаращенные глаза, достоинство, с которым она сказала тогда, что не продаст картины. Действительно, нужна была верность, чтоб

заявить, что произведения полусумасшедшего отщепенца и неудачника необходимы человечеству. На самом деле требовалась любовь, чтоб долгие годы день за днем разбирать смятые, пожелтевшие листки, расшифровывать строки нервно бегущего почерка, слова и фразы на дикой смеси голландского, английского и французского, сопоставлять, переписывать, приводить в порядок. Но она взяла на себя этот самоотверженный труд, посвятив ему собственную жизнь, преодолела все препятствия, сумела убедить сомневающихся издателей и выпустила первый томик. Теперь ее давно уже нет, но к современникам доносится горькая жалоба Винсента из Хогевена, Ньюэнена, Арля, его гнев и надежда.

Черт меня возьми!.. Смятенный, я вышел с кладбища и неожиданно для себя отправился в Лувр.

Приезжаю. Толпа, топтание на месте, медленное продвижение. Все, конечно, вежливо, доброжелательно... И разговоры. Сравнивают Ван Гога с другими импрессионистами и постимпрессионистами, ищут всяческие взаимные влияния. Одному нравятся портреты, другой восторженно говорит о пейзажах. Я же молчу и думаю, что все это гипноз. Спору нет, он был великий, прекрасный человек, однако, что касается художника, тут я останусь при своем мнении. Ни рисовать, ни писать маслом он не умел и не научился. Я же сам видел, как он работает, это мазня, а не живопись, меня не обманут критики и искусствоведы.

Проходим в вестибюль, приобретаем билеты. Служители по-праздничному приветливы и одновременно серьезны, как в храме. Мраморные ступени лестницы, стихают разговоры, глуше, осторожнее становится шарканье ног.

Первый зал. Тесно... Я стою и почему-то не решаюсь

поднять глаза. Затем поднимаю. Передо мной «Едоки картофеля», рядом «Ткач», «Девочка в лесу», «Старая башня Ньюэнен». Все хорошо мне знакомо.

Смотрю, и вдруг картины расширяются, увеличиваются, срываются с мест, летят на меня. Это как чудо, как фантастика. Грохочет гром, вступает музыка, и я опять там, на окраине Хогевена, в бедной хижине поздним вечером. Люди неподвижны вокруг блюда с картошкой, но в то же время двигаются, они молчат, но я слышу их немногословную речь, ощущаю мысли, чувствую их связь друг с другом. Такие вот они, с низкими лбами, некрасивыми лицами, тяжелыми руками. Они работают, производя этот самый картофель, грубую ткань, простые, первоначальные для жизни продукты. Они и потребляют многое из того, что делают, но какая-то часть их тяжелого труда в форме налогов, земельной ренты и тому подобного идет на то, чтоб у других был досуг, из этой части возникают дворцы, скульптуры, симфонии, благодаря ей развиваются наука, искусство, техника.

Мужчина протянул руку к блюду, женщина тревожно смотрит на него, уж слишком усталого, — почему-то он не ответил на ее вопрос. Старик дует на картофелину, старуха, задумавшись, разливает чай. Ей уже не до тех конфликтов, что могут возникать между молодыми, она знает, что маленькую размолвку или даже ссору поглотит, унесет постоянный ток жизни, в которой есть коротенькая весна, быстрые мгновенья любви, а потом все работа, работа, работа...

Я узнаю лампу, висящую над столом, закопченный потолок, узнаю самого мужчину. Вот сейчас я войду к ним, он неторопливо доест свою порцию, затем встанет, что даст мне возможность поговорить с художником.



Он не получил никакого образования, ум его не изощрен и не быстр, но он выходит на темную улицу, зная, что «так надо», что должно помочь нищему чудаку, снявшему у них угол.

Эти едоки картофеля как будто бы не оставили ничего сверкающего, заметного на земле и в общей летописи племен и государств, но их трудолюбие, неосознанное, почти механическое упорство, с которым они боролись за собственную жизнь и своих близких, позволили человечеству перебиться, перейти тот опаснейший момент истории, когда все держалось на мускульной силе, когда человек как вид в своем подавляющем большинстве попал в условия, пожалуй, худшие, чем у животных, когда уже кончилась эпоха его биологического совершенствования, но еще не вступили другие факторы. Им было трудно, крестьянам, ткачам с серыми лицами, но они позволили нам сохранить человечность и выйти в будущее, к возможностям глубокого, всестороннего контроля над окружающей средой...

С трепетом, с волнением я начинаю понимать, что же сделал Ван Гог-художник. Он оставил нам их, этих темных работяг, не позволил им уйти в забвенье. Но более того, он намекнул, что будущим изобилием благ, стадионами, театрами, вознесшимися ввысь городами-мегаполисами, каким, например, стал Париж к 1995-му, и всякими другими чудесами, которых еще и в мое время не было, мы обязаны и будем впредь обязаны не льющемуся с нашего светила потоку энергии, не гигантским силам, удерживающим вместе частицы атомного ядра, а человеческому сердцу.

Черт меня побери!.. Бросаюсь в другой зал, третий, обратно в первый. Расталкиваю народ, то застываю, то срываюсь с места бегом. Смотрю на «Звездную ночь»,

что привезена в Лувр из Музея современного искусства в Нью-Йорке, и мне приходит в голову, что в звездах Ван Гог видел не только светлые точки, как все мы, но прозрел огромные короны, простирающиеся на миллионы километров, уловил всеобщую связь всего со всем, поэтическую зависимость нашей жизни от тех таинственных процессов, что происходят в космосе, — зависимость, которую лишь впоследствии открыл ученый Чижевский. И не только это! Меня осеняет, что развиваясь от вещи к вещи, Ван Гог предвидел проблемы, которые лишь столетием позже стали перед человечеством, когда природа, будто бы уже покоренная, выкинула новый вольт, доказав, что нельзя быть ее господином, а только другом и сотрудником. Я вижу самодовлеющую ценность бытия, сложность вечно живущей материи, напряженно застывшую в яркости и резких контрастах его натюрмортов, чувствую в больших композициях трепет пульса биосферы.

А на пейзажах льется зеленовато-желтый дождь солнечных лучей, о котором он говорил мне в Арле, посумасшедшему закручиваются кипарисы, море переливается розовостью и голубизной, и все это обещает наступление тех времен, когда человек, освобожденный от заботы о хлебе, поймет наконец, как прекрасен мир, в котором ему суждено было родиться...

Что вам сказать? Целый день я провел в Лувре, а вечером уселся на скамью в Люксембургском саду и стал думать. Все это очень хорошо, картины, вот они. передо мной, я предложу невиданные деньги и, конечно, смогу приобрести большую часть их. Но, с другой стороны, скоро гитлеровцы в рогатых касках затопят Европу, и рядом с теми, кто борется против них, станут произведения великих художников, писателей, композит-

торов. В Голландии возникнет партизанский отряд имени Ван Гога, томик «Писем» найдут в вещмешке красноармейца, убитого на фронте под Ленинградом. Желто-зеленый солнечный свет будет нужен людям и в трудный послевоенный период, в сложные пятидесятые годы и тревожные шестидесятые. Так неужели же я окажусь таким последним мерзавцем, чтобы исключить Ван Гога из истории человечества, скрыть его как раз в то время, когда в нем более всего нуждаются?

Я встал, пошел в отель «Бонапарт», взял два своих чемодана, набитых долларами, влез в подземку, вылез около Двойного моста. Спустился под пролет к реке, устроился поудобнее, раскрыл чемоданы и принялся потихоньку бросать кредитные билеты в воду. Отщипывал стодолларовые бумажки по одной, они выскальзывали из моей руки, плыли метров десять, а затем постепенно тонули. Сел рядом оборванный толстенький бродяга. Помолчал, спросил, фальшивые ли. Я ответил, что настоящие. Он осведомился, сколько их тут у меня, я объяснил, что около полутора миллионов наличных и еще на три с половиной чеками. Он некоторое время смотрел, как я распечатываю пачки, и сказал:

— Оставь доллар. Возьмем вина.

Я дал ему долларовую бумажку, он принес большую бутылку молодого корсиканского. С ним я остался ночевать тут же под мостом, в дырявой палатке, а потом прожил там две недели. Отель мне опротивел, ни разу я не зашел ни туда, ни на проезд Нуар, где зиял в подвале развороченный пол. Кормились с бродягой у Орлеанского вокзала. То чемодан кому-нибудь поднесешь, то поможешь шоферу разгрузить машину — неплохо даже зарабатывали. Приятный человек был

этот толстенький Все хвалил меня, что я спустил день-ги в реку. Говорил, от них одна морoka.

Быстро пронеслись четырнадцать дней, настало тридцатое октября, когда меня должен был вызвать 1996 год. Явился я к двенадцати ночи на бульвар Клиши, становлюсь на знакомое место. Настроение отличное, только что устроили с бродяжкой прощальный ужин там, под мостом.

Смотрю на ручные часы — они у меня были, кстати, наши, кристаллические, но в «мозеровском» корпусе, ни уходить вперед, ни отставать не могли. Все точно, еще пятнадцать секунд — и прощай 1938-й.

Набрал в легкие воздуху, чуть приподнял руки. Когда тебя в Камеру затягивали, на миг возникало ощущение, будто с вышки бросаешься в воду или, скажем, прыгаешь вверх с ракетным ранцем. Очень ненадолго, конечно.

Ну, думаю, пусть только Кабюс начнет свое всегдашнее нытье, пусть только слово посмеет сказать. Как врублю ему между глаз — узнает, корыстолюбец, как нарушать Всемирный Закон, торжественно подписанный представителями разных народов и эпох!

Пять секунд до срока... две... одна, и...

И ничего!

Удивился, решил, что сам мог ошибиться на минуту — не запомнил точно срок. Еще раз поднимаю руки. Секунды сыплются. Три... одна... ноль.

Опять ничего.

И вы знаете, так я и остался в вашей современности. Вызова не было ни в эту ночь, ни в следующую, ни всю неделю, что я туда приходил на бульвар. То есть остался я там, в 1938 году, а потом уже вместе со всеми, общим порядком, дожил, доехал вот до этого, 1970-го...

Что вы говорите? «Кабюс рассердился»... Честно говоря, мне и самому сначала так подумалось. Договоренность была, что я пробуду в 1938-м три месяца. Вот я и прикинул, что Кабюс с женой к концу этого срока взломали пол в подвале, увидели, что там пусто, и решили меня вообще не выдергивать. Но, с другой стороны, могло быть и совсем иначе. Тут вся штука в изменениях, которые нельзя предвидеть. Помните, у нас был разговор, что даже после того, как сдернут завиток, какие-то последствия твоего пребывания в прошлом все равно остаются. Я вам не говорил, что всякий раз, когда я возвращался от Ван Гога, Кабюс менялся. На него и с самого начала девушки не заглядывались, результатом же моего первого путешествия было то, что нос у него еще вытянулся и скривился. После сдернутого завитка нос сделался короче, но остался на сторону. И так оно пошло. Когда я вернулся, прыгнув второй раз, он был уже не Кабюсом, а Бабусом и стал меньше ростом. После третьего путешествия физиономия у него стала совершенно как у хорька — знаете, такая вся собранная вперед. Я даже не скрыл своего удивления, он меня всегда спрашивал при выходе из Камеры, почему я так странно на него смотрю. Один раз заподозрил что-то и стал допытываться, не был ли он раньше красавцем. А после четвертого путешествия он был женат уже не на тощей брюнетке, а на маленькой блондинке, круглой, с тусклыми глазами и низким лбом. Однако Кабюс, конечно, только самый очевидный пример — то, что мне первое в глаза бросалось. Были и другие перемены.

Даже с Ван Гогом, между прочим, кое-что менялось. Смотришь его письма и другие материалы о нем до очередного путешествия, там одно, а когда возвра-

щаешься — немножко не так. Вот сейчас я читаю в книгах, что «Едоков картофеля» художник написал в 1885 году, а когда я первый раз путешествовал, это был 1883-й. Правда, сама картина осталась совершенно той же. И наконец, еще один важный момент. Чем ближе к своей собственной современности ты ворошишь прошлое, тем заметнее всякие побочные эффекты. То же самое, как если бы веселая компания облюбовала уютную бухточку на реке, а потом кто-нибудь поднялся бы вверх по течению и шутки ради вылил в воду ведро краски. Если он это проделает километров за десять от места, где сидят остальные, никто ничего и не заметит. А если в трех шагах, вода будет вся красная или там зеленая. Но ведь в последний раз я метнул именно в близкое прошлое, да еще наделал там шуму, распродавая драгоценности на несколько миллионов. Поэтому вовсе не обязательно, что Кабюс обозлился и обиделся. Могло быть, что в новом варианте истории он не стал техником при Временной Камере, не нашел лазейки, как замещать энергию, что мы с ним просто не были знакомы или что изобретение Временной Петли укатилось дальше в будущее. Более того, могло быть, что при осуществившихся изменениях, при другой альтернативе я сам вообще не родился, как тот сержант в Рио. И некого было вызывать.

Так или иначе, я не вернулся в будущее, остался здесь. И, вы знаете, не жалею. Еще неизвестно, что из меня получилось бы в 1996-м.

Молодежь тогда уже пошла хорошая, об ЕОЭнах мало кто стал думать, мир быстро менялся. Я бы продолжал свои махинации. — Именно потому, что безопасно было, — зарвался, естественно, и в конце концов закатали бы в мезозой к птеродактилям.

А тут у меня жизнь хорошо сложилась, я доволен. В 39-м война началась. участвовал в Сопротивлении, потом женился, работал. Две дочки у меня, младшая кончает университет, старшая замужем, и внуки есть. Недавно поступил сюда в музей сторожем в зал Ван Гога. Все смотрю, как приходят люди, взрослые или мальчишки в клешах, круглоглазые девчонки. Стоят глядят, и каждому попадает в сердце зеленовато-желтый луч. И так мне приятно, что я не увел тогда картины...

Ага, вот уже звонок, сейчас будут закрывать, надо подниматься... Что вы сказали? Помню ли я, что должно быть от 1970 к 1996 году, какие произойдут события?.. Конечно, помню и мог бы рассказать все. Но только не имеет смысла.. Почему?.. Ну, во-первых, потому, что я сюда попал и своим присутствием оказываю некоторое влияние. Но не это главное. Я же вам объяснял, неужели вы не поняли?.. «Ничего не делать?» Нет, почему же, как раз надо все делать. Будущее всегда есть, но каким оно там впереди осуществляется, зависит от того, как мы поступаем в своей эпохе. Ну, допустим, вы хотите что-то совершить, если выполнили свое решение, идет один вариант будущего, а трусили или заленились — другой, уже без вашего поступка. И так от самых мелких вещей до глобальных. Будущее — это бесконечность альтернативных вариантов, и какой из них станет бытием, полностью диктуется всеми нами. Я-то знал один вариант, но их бесконечность, поэтому ничего нельзя сказать наперед, за исключением самых общих вещей.

Так что вы не спрашивайте, каким будет завтрашний день. Хотите, чтобы он был великолепным и блестящим, делайте его таким. Пожалуйста!



Он оглядел наполненный народом низкий зал.

— Слушайте, сколько вы заказали этой официантке — два по сто?.. Закажите лучше сразу два по две-сти, а то ее второй раз не дозовешься. — Затем он откинулся на спинку кресла. — Скажите, вы знаете кристаллы?

— Ну так... В общих чертах. По специальности я инбридный атомограф с синтаксическим уклоном. Это одно из подразделений гомотектоники — адаптивной, конечно. Мог бы рассказать вам одну интересную историю. И если б вы согласились...

Краснолицый прервал меня кивком и задумался.

— С кристаллов у нас все и началось. Понимаете, Копс избрал себе такой вид отдыха — точить кристаллы. Голова у него не очень-то работала, он с самого начала, еще в молодости, решил, что больше, чем примитивный физик-теоретик, из него не выйдет, и подался на административную линию. К нам в институт он попал уже лет сорока от роду комендантом. Оно, кстати, и неплохая должность, потому что этих разных докторов наук, сюзеренов знания, сейчас хоть пруд пруди, про магистров и кандидатов и говорить нечего, а комендант в любом учреждении один и пользуется всякими



привилегиями. Довольно скоро он подыскал себе просторный подвал в главном здании и стал там вечерами отдаваться излюбленному занятию. Постепенно это сделалось в институте чем-то вроде клуба. Мы тогда помещались у самого порта, начали заходить и посторонние. Кто с Луны, кто с Юпитера, некоторые с Альфы Центавра, байки, рассказы. У Копса для каждого была наготове чашечка кофе, а то и покрепче напитков. Последние новости докладывались у нас раньше, чем в Академии... Для меня, прямо скажу, больше удовольствия не было, как усестись поплотнее в кресло, налить себе рюмочку и наострить уши. За это меня очень любили и даже в очередь ко мне становились: у нас ведь все замечательные рассказчики, каждый наполнен до краев, хочет говорить, но совершенно нет слушателей. Теперь представьте себе это помещение, довольно большое, с желтыми крашеными стенами, грубо побеленным потолком. В одном углу столики, кресла, стулья, кофейный аппарат, повсюду ящики со всяким барахлом — от гаек, шайб, старых ломаных лазеров до современного мезонного микроскопа, — а в дальнем углу Копс у своего шлифовального станка. Копс, который сам всегда помалкивал, но другим не мешал болтать. К нему обращались в спорах как к последней инстанции, к самому Здравому Смыслу. Он выслушивал спорщиков и прекращал дискуссию не тем, что у каждого создавал впечатление, будто он прав, а тем, что все доводы тонули в его необъятной глупости, как в лоне самой матери природы. Поглядев на дурацкую, но добрую физиономию Копса, какой-нибудь юный академик, огонь, воду и медные трубы прошедший на разных там неизвестных планетах, десять раз тонувший, замерзавший и сгоравший, собаку съевший на ученых советах

и расширенных заседаниях кафедры, вдруг умолкал и спрашивал себя: «А на кой дьявол?» И весело отправлялся к буфету. Слух о нашем приятном заведении докатился буквально до отдаленных звезд. Везде в космических портах знали, что если охота услышать свеженький анекдот, самому потрепаться, кому что оставить или о ком-нибудь узнать, то на Земле лучше места нет. Почти все у нас собирались транзитные, собиравшиеся лететь или еще не включившиеся в дела после приземления. Никаких забот и мрачных мыслей, шутки, вранье, чисто мужская компания. Ужасно мне нравилась эта атмосфера. Я серьезно подумывал туда переселиться, в подвал, и переселился бы, если б не понимал, что поставить туда постель как раз и означало бы всю эту непринужденность уничтожить. Так оно все шло, и вот однажды...

— А вы сами тоже работали в институте? — спросил я. — Какая у вас специальность? Если вы немножко разбираетесь в гомотектонике и имели дело с материализацией, вас должно очень заинтересовать...

Он посмотрел на меня с упреком. Его маленькие серые глазки, жуликоватые и мечтательные, не слишком подходили к широкой красной физиономии с когда-то резкими, а теперь расплывающимися чертами.

— Да, работал. Но не особенно перенапрягался. — В его голосе звучал вызов, он оставил без внимания вторую часть моего высказывания. — Не лез из кожи вон. У нас ведь большинство так старается выложиться на работе просто от лени. Человеку не о чем думать, неохота оставагься наедине с собой, вот он и вкалывает будто одержимый либо гонится за тем, чтоб узнать что-нибудь новое. — Он бросил взгляд в сторону зала, где под сводчатым потолком стоял гомон голосов. —

Народ совершенно разучился ничего не делать — вот в чем наша беда. Думаете, они сюда просто поболтать пришли? Черта с два! Ни поговорить по душам, ни выпить. Это искусство утрачено. Они и сейчас толкуют о делах. А если не толкуют, то думают. — Он вдруг повернулся к своему спутнику, пятнадцатилетнему верзиле, который тоже вошел с нами в бар. — Ну, а ты чего стал? Посиди послушай, о чем умные люди говорят.

Юнец шмыгнул носом, переминаясь с ноги на ногу и уныло глядя в пол. Этакая жимолость на голову выше меня, длиннорукий и с тонкой шеей.

— Да ладно, — сказал он, томясь. — Чиво там...

— «Чиво, чиво»! — передразнил краснолицый. — Иди уж. Подождешь на углу.

Юнец облегченно кивнул мне и побрел к дверям. Походка у него была вихляющая. Запястья торчали из рукавов комбинезона сантиметров на десять больше, чем по моде.

— Ему на все наплевать, — горестно поведал краснолицый. — Только бы стать где-нибудь спиной к стенке и смотреть на проходящих девчонок. Пусть бы заговорил хоть с одной, попробовал бы познакомиться, как раньше. Так нет, молчит себе и ухмыляется. — Он поднял стакан с «марсианской очищенной» и опрокинул добрую порцию себе в глотку. — Так о чем мы говорили, об этом подвале, да?.. Одним словом, однажды появляется у нас дикий бородатый тип и притаскивает с собой гигантский кристалл. То есть «притаскивает» — это, конечно, неправильный термин, потому что штука весила около тонны. До этого типа каким-то образом дошло, что Копс интересуется кристаллами, — тип летел откуда-то с Веги, а может быть, с Сириуса, мы не запомнили, да и не интересовались, — ему нужен

был балласт в корабль. Он засунул машину в трюм, на Земле взял автопогрузчик, и так или иначе кристалл очутился в подвале. Бородатый пират наговорил нам три бочки арестантоз о своих приключениях и через два часа улетел опять-таки неизвестно куда. Имени его мы не узнали, как и имени человека, который рассказал ему о нашем клубе. Копс, естественно, прежде всего попытался определить минерал по закону постоянства углов и объявил, что такого у нас еще не бывало. А потом приладил штуку на свой станок. Теперь надо вам сказать, что он и не ставил перед собой научных целей, занимаясь кристаллами. Просто вытачивал из них линзы, которые дарил впоследствии тем, кто в них нуждался или вообще соглашался взять. Линзы ведь теперь изготавливают методом точного литья, но если вам или вашему учреждению предложат хорошо обработанный экземпляр из самородного материала, то нет смысла отказываться. Поскольку Копс работал бесплатно, он не особенно огорчался, если случалось запороть очередное изделие. Просто брал лазер, простреливал испорченную линзу насквозь и устанавливал на станок следующую. Таких пробитых у него набралось целых пол-ящика — не знаю, зачем он их копил. Как раз в это время в институте стало известно, что наверху лаборатории химического контрапункта примерно через полгода нужна будет линза диаметром в метр шестьдесят сантиметров для какого-то там ультрагармонизатора с двойной октавой — не помню точно, как этот прибор у них именовался. Копс обрадовался, у него появилась цель, он горячо взялся за работу. Короче говоря, чтоб вы правильно поняли, это у него было настоящим хобби вроде собирания марок, изготовления ручным способом телескопа, рисования точками или

еще какой-нибудь ерунды, которой люди стараются забить пустое место у себя в мозгу. Он любил «быть при деле», вот и все. Но когда человек избирает «делом» кристаллы, да еще достаточно разнообразные, те, что прежде не подвергались исследованию, неожиданности сыплются сами собой. Вам, конечно, известны удивительные свойства этих структур. Кристаллы бывают твердые, жидкие, газообразные и плазменные, как, скажем, шаровая молния. Всем им присуща анизотропность, то есть их свойства сохраняются по параллельным линиям, меняясь по сходящимся. Кристаллы пьезоэлектричны — при сжатии на противоположных гранях возникают разноименные заряды, которые при растяжении меняются местами. Кроме того, тут двойное лучепреломление, поляризация, плеохроизм и всякое такое. Феоназ — Копс так его назвал — представлял собой удлинённый додекаэдр со срезанными вершинами или тетракайдекаэдр — если такие формы складываются, то они, между прочим, целиком заполняют пространство. Оптическая ось у него оказалась только одна, ось симметрии была шестого порядка. Утром при дневном освещении кристалл имел рубиново-красный оттенок, в полдень делался зеленоватым, а при электрическом свете был совершенно прозрачен, что и делало его подходящим для того двойного ультрагармонизатора. По составу феоназ был близок к алмазу, но с большим числом разных примесей — около тридцати, — и все в ничтожных количествах. Копс посадил глыбищу на оправку из канадского бальзама, а может быть, из какой-то другой специальной мастики и взялся. Сначала он снял грубую стружку лазерной пилой и после этого приступил к тонкой отделке с помощью алмазных шаблонов. И тут начались неожидан-

ности. Прежде всего кристалл запел. Первый раз это случилось ночью, и его голос до смерти напугал молоденькую лаборантку, которая на пустыре неподалеку от института любовалась звездами, а возможно, конструировала в мыслях фасон новой кофточки. Девушка услышала печальный длительный вопль, не очень громкий, который исторгся из окон подвала. Один, потом сразу другой и еще несколько. Впоследствии она описывала это, как крики марсиан в романе Уэллса «Война миров». Но в тот миг ей было не до литературных ассоциаций, она ударилась бежать, перебудила в общежитии весь первый этаж. Кто-то сообразил, что ключи от подвала должны быть у Копса, к нему позвонили, подняли с постели, и человек десять толпой кинулись к институту. Спустились, но кристалл уже умолк, а поскольку его и не подозревали, было решено, что девице, измученной почти неразрешимым вопросом «короткий или полукороткий рукавчик», попросту почудилось. Однако на другую ночь феоназ опять подал голос, да так громко и настойчиво, что звук достиг общежития. Снова толпа, снова Копс с ключом, и теперь все объяснилось. В помещении было пусто, ни души. сиротливо стояли стулья, столики, ящики с барахлом, а кристалл пел. Копс подошел к нему, дотронулся, и тон стал как бы шероховатым. Вообще это были звуки в среднем регистре, первое время довольно однообразные. В них действительно чувствовалось что-то неземное, чуждое, и стало ясно, отчего девушке пришел на память Уэллс. Какая-то звездная симфония, музыка сфер. Кто-то предложил заземлить кристалл, и, когда так сделали, феоназ умолк. Пение продолжалось около месяца, концерт в первые разы начинался около часу ночи, но постепенно сдвигался к утру, продолжаясь всегда одно

и то же время. Было логичнее связывать все это с какими-то внезапными обстоятельствами, не с нашими, планетарными. Видимо, кристалл пел, когда до него доходили некие волны из тех глубин космоса, к которым Земля в этот час этого месяца поворачивалась неосвещенной стороной. Сначала феоназ исторгал ряд длинных порывистых нот, как бы настраиваясь, затем два голоса начинали спорить, а вдогонку пускалась странная мольба на низких задыхающихся тонах. Отдельные ритмы сливались в одно, все доходило до апогея и обрушивалось куда-то в бездну. Чуть-чуть похоже было на Шенберга, яростно и печально. Иногда феоназ представлялся нам простым механическим ухом, что бездумно ловит происходящее на дальних звездах, но порой мы думали о нем почти как о существе одушевленном. Тот бородатый тип взял его с неведомой планеты, а может быть, похитил с астероида, миллиарды лет несшегося неизвестно откуда, и теперь кристалл, казалось, тосковал по утраченной родине, по невозможности принимать участие в торжественном борении веществ, в драматических превращениях материи в энергию. Несколько ночей мы все это слушали, потом надоело, и, чтоб феоназ не будил окрестность, мы его напрочь заземляли. Копс между тем продолжал точить линзу, и через некоторое время у феоназа опять прорезался голос. Но по-другому. Сначала он выступал, так сказать, в классической манере, а теперь опустился до эстрады. Вечерами он принимался шуметь, трещать, подобно плохому радиоприемнику, сквозь этот треск слышались обрывки всяких дрянных песенок, и однажды целиком исполнил «Мой Котя». А позже он стал ругаться. Зашел я в подвал как-то под вечер — и вдруг слышу: «Прохвост! Ты ж целый день ничего не

делаешь». Мне показалось, что это мой собственный внутренний голос, я уже вознамерился протестовать, но тут со стороны шлифовального станка прозвучало ироническое: «Много ты понимаешь». И так далее. Короче говоря, где-то разыгрывался скандалчик, и феоназ его передавал непосредственно. Скоро мы убедились, что это было гораздо интереснее, чем радиоприем. В зависимости от состояния среды над Землей, от суммы радиации и поведения магнитного поля феоназ каким-то удивительным образом настраивался транслировать звуковую обстановку определенной точки на поверхности нашей планеты, отсекая фон, выступая в качестве и преобразователя и усилителя. Теперь в подвале раздавалось спокойное мурлыканье домохозяйки, которая, поставив суп на электроплиту, гладит рубашку мужа, шепот влюбленных, отрывок публичного выступления с бесконечными «Позвольте мне...», быстрый разговор двух девчушек, почти целиком состоящий из восклицаний-вопросов: «А что он сказал?.. А ты что сказала?» Целыми часами можно было слушать человеческую речь, слова и фразы на разных языках, по большей части непонятные, но постоянно вполне отчетливые. Иногда над ящиками с хламом витал страстный по содержанию монолог мужчины, но гон показывал заученность, чувствовалось, что это выговаривается не впервые — мы могли себе представить глупое сердечко, принимающее все за чистую монету. А порой где-то в другом месте два-три слова, имеющие отношение к чему-нибудь совсем обыденному, выдавали такую нежность, что пронзало насквозь... Впрочем, пронзало не всех. Копс, напротив, ужасно огорчался из-за болтливости кристалла. Он видел в этом что-то несолидное, лишаящее его звания серьез-



ного мастера, и боялся, что разговорчивую линзу не возьмут для того самого двухрядного модификатора. Поэтому он не остановился на эпохе эстрадных увлечений кристалла (что сделал бы любой на его месте), продолжал снимать слой за слоем и добился наконец того, что феоназ действительно умолк. Однако, потеряв голос, кристалл начал терять и оптические свойства. Он постепенно делался дымчатым, а еще через какое-то время стал синевато-белым, вроде тоненького слоя кумыса, если его налить на темный стол. Такая линза наверху тоже не была нужна, но Копс, привыкший к изменениям, рассчитывал на новые неожиданности. У него к станку теперь был приспособлен оптический измеритель на ободе, он с помощью светового зайчика проверял гладкость поверхности и продолжал шлифовку. И вот в один прекрасный день, когда Копс отодвинул в сторону измеритель и попробовал прикоснуться к линзе, то вместо того, чтоб встретиться с отполированной твердостью, его пальцы провалились в ничто. Пальцы провалились, и их кончики одновременно вылезли, но не с противоположной стороны линзы, которая была Копсу не видна, не насквозь, как можно было бы ожидать, а тут же, на этой же поверхности, навстречу ему. Они вылезли недалеко от центра и симметрично к тому месту, где он их сунул. Кончики пальцев как бы выплыли из синевато-белой непрозрачной массы, вынырнули там — причем ровно настолько, насколько кисть вошла здесь. Копс, по его рассказу, был так ошарашен, что автоматически двинул руку дальше — и с той стороны от центра она вылезла больше опять-таки навстречу ему. Как глубоко он погружал, так много там высывалось. И он сразу узнал, что это именно его рука, потому что пальцы были запачканы

мастикой, а рукав кремовой рубашки довольно-таки захватан. Тогда он испугался, вынул руку из кристалла — там кисть тоже соответственно убралась, отошел и принялся тыкать в кристалл разными палками. За этим занятием мы его и застали...

Краснолицый умолк и посмотрел в окно, выходившее прямо на тротуар. Там маячила фигура его юного спутника, который, уже нагулявшись, стоял теперь, опираясь спиной о рекламную тумбу.

— Подождите, я сейчас.

Он встал и побрел к двери. Пиджак покрывал его широкие покатые плечи, как попона покрывает спину слона зимой где-нибудь в сибирском заповеднике. Он вышел из зала на улицу и тотчас появился в окне возле юнца. Двое заговорили, потом краснолицый достал кошелек. Все было так близко, что я даже видел, как он шепчет про себя, пересчитывая мелочь, поднимает глаза к небу и думает. Наконец он сунул деньги юнцу. Тот пошел было прочь, но краснолицый вернул его, что-то сказал и погрозил пальцем.

В зале, усевшись за столик, он объяснил:

— Дал ему, чтоб сходил пообедать. Но никогда не знаешь точно. Может пойти в кино или все пустить на мороженое. В голове только кино, девчонки и мороженое. Просто глаз нельзя спускать... Так на чем мы остановились? На «эффекте феоназа», да? Итак, попробуйте вообразить себе эту картину. Мы, то есть толстый логорист с четвертого этажа, молодой астрофизик, только вернувшийся с Урана, и я, входим в подвал. Перед нами Копс, встрепанный, взволнованный, со стойкой от штатива в руке. Он подзывает нас, сует стойку в кристалл, и она вылезает тут же, на этой же стороне линзы, под тем же углом к поверхности, но направленная

наоборот. И поскольку стойка на всем протяжении одинакова, а погрузил ее Копс наполовину, то вылезший конец кажется зеркальным отражением того, что остался в руке Копса. Как будто линзу по вертикали перегородивает зеркало. Но странное, конечно, потому что нет руки Копса, его самого, да и нас. Проворный астрофизик кидается за линзу, но там ничего. Я хочу пощупать поверхность кристалла, но пальцы уходят в молочный туман. Погружаю руку по локоть, и она там вылезает до локтя. Причем я совал так, что ладонь была повернута от меня, а там она обращена ко мне. Шевелю пальцами, там они шевелятся. Логоритмист берет «ту» руку — я чувствую прикосновение. Я жму, он вскрикивает. А выглядит это, будто кто-то здесь отрезал мою кисть по запястье и местом отреза прикрепил к поверхности линзы там. Я начинаю двигать руку от центра, все так же погруженной, и там кисть движется от центра дальше. Вот рука и ее кисть уже разошлись на два метра, но все функции сохраняются. Пытаюсь вывести руку на самый край линзы, однако это не удастся, ибо мешает какая-то сила... Логоритмист берет гаечный ключ, швыряет его в линзу. Ключ проваливается, исчезает, как в воде, тотчас выныривает с другой стороны от центра, симметрично, и падает у наших ног. Копс поднимает пистолет для забивки гвоздей в бетон и стреляет. Гвоздь скрывается в кристалле, тут же вылетает и сбивает шляпу с астрофизика. Как будто внутри линзы действует устройство, принимающее и поворачивающее все назад. Мы поднимаем здоровенную водопроводную трубу, как пушку, начинаем вдвигать ее в фео-наз. По всем законам божеским и человеческим она должна бы пронзить кристалл насквозь и упереться в стенку. Так нег же! Труба входит в этот кумыс без

всякого сопротивления, вот уже скрылось метра два, никакой стенки мы не чувствуем, а три метра трубы вылезло нам навстречу. Собирается еще народ, все, конечно, удивляются, но не очень. И вы знаете, почему не очень?

— Естественно, знаю, — сказал я. — Потому что я сам мог бы...

— Вот именно. Потому что у каждого своих чудес хватает. На пятнадцатом этаже в институте заняты этой самой дисперсной левитацией, на двадцать пятом сидит замороженная дева, взглядом передвигая гири, и лаборатория телебационных уравнений тоже каждый день подкидывает что-нибудь новенькое. Сами понимаете, как у нас. К вам может приставать тип, который действительно изобрел Вечный Двигатель, готов его продемонстрировать, и вы согласитесь его выслушать, только если будете уверены, что он пойдет на то, чтоб познакомиться с созданным вами Постоянным Тормозителем. Никого ничем не пронять. Иногда задумаешься, и просто грустно делается — для чего живем? Человек лет тридцать может убить на изобретение, потом является кто-нибудь с более сенсационным открытием, и все прежнее — как в яму. В результате народ стал какой-то ожесточенный, нет простого любопытства, не говоря уж о дружеском участии. В мое время, то есть когда я был молод, было не так. Мы тогда умудрялись побыть просто людьми, интересовались чем-то, кроме своего собственного дела. Но теперь это исчезает.

Глаза краснолицего увлажнились. Он красноречиво посмотрел на пустой стакан.

Я поднял руку, подзывая официантку, и заказал еще два по двести. Она помедлила, глянула на краснолицего и стала нахально вытягивать свои щупики — мол, не

довольно ли с него. Он уже начал вставать, возмущенный, и тогда я сказал, что пусть будет по кружке «лунного». Официантка выслушала с таким видом, будто делает большое одолжение уже тем, что стоит рядом, и укатила, презрительно сверкая всеми индикаторами. Удивляешься иногда, откуда у роботов системы обслуживания взялось это хамство.

— Почему вы сказали «в мое время»? — спросил я. — По-моему, вы не так уж намного старше меня. Сколько вам сейчас?

— Сколько сейчас? — Он поднял голову и уперся взглядом в низкий потолок. — Когда началась эта заваруха, было пятьдесят. С тех пор прошло двадцать лет, значит, примерно шестьдесят шесть или шестьдесят семь.

— Как это? Если вы не были на других звездных...

— Да, пожалуй, шестьдесят шесть. Сейчас уже ничего не установить точно, потому что некоторые годы нужно считать обратно. Не только годы — месяцы, дни и даже часы. Да что там говорить, я вообще не уверен, что я — это я! А если я — я, то, возможно, вы — не вы.

— То есть?..

— Да вот так. Вам кажется, что вы — вы, а на самом деле ничего подобного.

— Что-то я вас не вполне понимаю. По-моему, это уж точно, что я — я.

— А откуда вы знаете? — Он вздохнул. — В том-то и беда, что все теперь перепуталось, хотя большинство об этом не подозревает.

— Из-за кристалла?

— Ну да!

— И как это вышло?

— Об этом я вам и рассказываю.

Тут перед нами появилась «лунная», он любовно погладил кружку.

— Да, так вот. Народ поудивлялся и разошелся по своим делам, а мы остались с феоназом. Было, естественно, много ошеломляющего. Эта штука висела на станке — кумысного цвета сгущение, непроницаемое по краям, — и таила в себе массу загадочного. Астрофизик зашел на другую сторону, там стал совать разные предметы, но они появлялись теперь уже с той стороны. Ничего нельзя было продвинуть сквозь линзу, хотя она и не оказывала никакого сопротивления. Все шло как в воздух, растворяясь в кумысном тумане, и возникало тут же рядом, не теряя свойств, не теряя связи с той частью, что оставалась снаружи. Астрофизик, который перед отлетом в Бразилию околачивался у нас целых три дня, сунул однажды в линзу горшочек с кустиком красных роз и там, с той стороны от центра, взял его. Ничего не изменилось в розах, ничто не повредилось в них. Очень хорошо! Мы проделали такой же опыт с аквариумом, где у нас жило с десятков черных рыбок — кажется, их название гурами — и три красных. Опять все в порядке — красные остались такими же медлительными, а черные такими же проворными. Мы осмелели. На третий день я погрузил в линзу руку вместе с плечом и половину лица. Естественно, она появилась тут же поблизости, и обе половинки оказались нос к носу. И когда я начинал двигать головой назад от центра, та половинка тоже уезжала на такое же расстояние. Тут сам собой напрашивался новый шаг — сунуть в кристалл ногу, туловище и появиться целиком, вылезти на другой половине линзы. Первым на это решился астрофизик. Он влезал спиной к нам, вылезший

оказался к нам лицом, затем так же влез и снова тут же вылез из нашей половинки линзы. Обращаю ваше внимание на то, что он прошел через кристалл именно четное число раз — в данном случае два. И все другие, хоть пришьлые, хоть институтские, почему-то лазили через феоназ дважды. Является к нам в подвал какой-нибудь путешественник, мы его знакомим с кристаллом. Он влезает и появляется один раз, потом через некоторое время — второй и на этом успокаивается. Даже не знаю, что тут играло роль — какой-то инстинкт, что ли? Но впоследствии оказалось, что для жизни всех этих людей это имело большое значение. Огромное. Потому что в первый раз вовсе не наш астрофизик вылез из феоназа, не наш аквариум был вынут из кумысного тумана, и не моя половинка лица появлялась нос к носу, когда я совал свою физиономию в линзу.

— А чья же?

— Сейчас поймете... Одним словом, физик уехал, но приходили новые люди, и мы продолжали развлекаться с удивительной линзой. Копс, правда, никак не мог понять, что в станке висит уже не кусок вещества, а скорее кусок состояния. Ему казалось, что кристалл можно еще подточить и, если вернется прозрачность, все же сделать линзу. Время от времени он приступал к феоназу со своими шаблонами и с недоумением в десятый или двадцатый раз убеждался, что режущая кромка без усилия скрывается в кумысном тумане, чтоб появиться тут же рядом. Не мог сообразить, что перед ним просто силовое поле неизвестной нам физической природы и шаблоны с резцом тут бессильны. Так прошла неделя или дней восемь, я как-то глянул на горшочек с розами и ахнул. Когда мы его проносили через кристалл, там были один большой бутон и четыре цветка. Бутону по-

ра было распуститься, а цветкам увянуть, потому что эти розы вообще недолго держатся. Но теперь на кустике было три больших бутона и один маленький. Я бросился к аквариуму — тут то же самое. Черные гурами и красные рыбки за это время не выросли, а измельчали. Прошло еще две недели, рыбешки превратились в мальков, затем из мальков образовались икринки, поплавали, упали на дно и как-то растворились. То, что было пронесено через кристалл, не старело, а молодело. Процесс шел в обратном направлении. Вот тут-то мы и поняли суть феномена. Феоназ оказался окном в антимир, где все было точно таким же, как у нас, но двигалось в противоположную сторону. Видите ли, это можно представить себе в образе двух гигантских колес, надетых на одну ось, но вертящихся в разные стороны. Предположим, что эта ось — линия. Относительная скорость на периферии колес может быть очень высокой, но по мере приближения к центру она будет падать, стремясь к нулю. Вот как раз такой нулевой точкой для нашего мира и антимира оказался кристалл феоназа, что и обеспечило возможность перехода из одной сферы в другую. Конечно, это не очень-то научное объяснение, в действительности дело обстоит много сложнее, но я вам уже говорил, что не силен в точных науках. Так или иначе, рука, которая высовывалась в тот момент, когда я погружал свою, была не моей.

— Хорошо. Но ведь вы чувствовали, когда вас брали за пальцы. Когда брал этот завлабораторией.

— Ну и что? Просто мою руку, которая оказалась уже в антимире, брал такой же завлабораторией там. А тот, кто высунул свою кисть сюда, мой двойник, чувствовал прикосновение нашего логоритмиста. И когда мы, скажем, бросали в линзу гаечный ключ, он проска-



кивал в антимир, а оттуда в этот же миг вылетал к нам такой же. Поэтому-то кристалл нельзя было ничем проткнуть насквозь. Мы думали, что вдвигаем трубу в фео-наз, а на самом деле вдвигали ее в антимир, и она, естественно, для нас исчезала. Но там в это время проделывали точно такой же опыт, и навстречу нам вылезала труба, которую мы ошибочно считали своей.

— Что-то я не очень понимаю.

— А что тут понимать. В антимире все то же самое. Такая же вселенная, такая же Земля, такой же институт и такой же Копс. В полном соответствии с тем, что делалось у нас, тот Копс доточил уникальный кристалл до такого же состояния и сунул в него руку как раз в тот момент, когда наш олух царя небесного влез в линзу со своей. А потом в тот антимировский подвал спустились тамошние логоритмист и астрофизик с таким же мною, и так оно все пошло. Они постоянно делали то же самое. С трубой, с цветочным горшком и аквариумом. И одновременно с нами поняли, в чем дело. Даже сейчас в том баре сидят такой же вы и такой же я, произнося те же слова и мысля те же мысли.

— Подождите, но вот вы сказали, что астрофизик влез в кристалл и вылез. Вы же видели, что это ваш астрофизик.

— Мы так считали сначала, потому что тот, вылезший, ничем не отличался от нашего. На самом деле наш в это время был в антимире.

— А он понял, куда попал? Что он потом рассказывал про антимир?

— Ничего.

— Почему?

— Да потому, что не знал, что был там. Мы ведь тогда этого не понимали. Он воображал, что так и

остался здесь, только видел, что все, располагавшееся справа от него, стало теперь располагаться слева. Я это тоже испытал. Погружаешься в кумысный туман, потом вылезает из кристалла и, как тебе думается, оказываешься опять у себя, поскольку там все одинаковое. Только видишь, что окно уже за спиной. А в это время твой двойник появляется в этом мире, и для оставшихся здесь ничего не меняется. Позже-то мы всю эту механику осознали. Пролезешь туда и говоришь: «Привет в антимире, ребята». А двойник, выбравшийся одновременно к нам, приветствует нашего Копса и других этими же словами.

— Но ведь можно было отмечать, скажем, вашего Копса, когда он лез туда. Поставить на руке метку чернилами. Чтоб убедиться, что оттуда появляется другой.

— Отмечали. Но в том подвале людей осеняла в тот же момент точно та же мысль, и вылезший тоже был с меткой... Нет, что нас убедило — так это обратная направленность процессов. Здесь-то мы и задумались. Секрет вечной молодости — вот что было перед нами, и по сравнению с открывающимися тут возможностями тот эликсир, который Мефистофель дал Фаусту, выглядел чем-то вроде таблеток от головной боли. Фауст просто еще раз сделался молодым, но только затем, чтобы еще раз скатиться к дряхлости. А кристалл позволял сколько угодно раз возвращаться, допустим, к двадцати пяти или двадцати годам и вообще свободно перемещать себя по возрастной шкале. Я, естественно, задумался о самом себе. Мои пятьдесят мне нравились, я бы предпочел возле них и держаться. Но вот как?... Однако ответ напрашивался сам собой. Год в нашем мире, год в том, и в результате ты не стареешь

и не молодеешь. Но поскольку к тому времени у меня уже все перепуталось, и я сам не знал, в каком мире в данный момент нахожусь, я решил сократить этот срок до одного дня. Утречком являешься в институт, заглядываешь в подвал к Копсу, идешь к себе в отдел, занимаешься там делами либо ничего не делаешь, а на другое утро опять та же операция. Тем более что никакой разницы не существовало, невозможно было определить, с антимирцами ты сейчас или со своими. Неплохо придумано, да? Сутки там, сутки здесь? Вот так прошло целых пять лет, в институте привыкли к феоназу, большинство о нем забыло. Заказ на тот двухоктавный капиллятор Копс, конечно, так и не выполнил, лаборатория получила то, что ей требовалось, из литейной мастерской. Но на шестой год им опять потребовалась большая линза. Копс разыграл духом и еще раз со своим дурацким упрямством приступил к феоназу. Снова шаблоны, снова та же история. Само собой разумеется, ничего не получалось, да и не могло получиться. Тогда, обозлившись, этот осел берет мощный лазер, становится против кристалла и бьет лучом прямо в центр — помните, я вам говорил, что таким способом он расправлялся с испорченными линзами. На его счастье, луч пролег как раз по оптической оси. Случись иначе, ошибись Копс хотя бы на миллиметр, ему навстречу исторгся бы обратный луч, отправив нашего коменданта к праотцам. Но тут два луча встретились в середине кумысного «нечто», раздался взрыв, и по всему зданию посыпалась штукатурка. И это было все. Кристалл перестал существовать, и мы с Копсом оказались на грани катастрофы

Краснолицый умолк, вздохнул и допил остаток «лунной» в кружке.

— То есть как он перестал существовать? Вообще исчез, что ли?

Краснолицый покачал головой.

— Распался на кристаллики. Но такие, что с ними ничего нельзя было сделать. Понимаете, сбегается народ, Копс стоит обалделый, с лазером в руке, а феоназа нет. На станке пусто, внизу, на полу, сверкающая гряда. В момент взрыва это снова стало материальным телом, минералом. Но рассыпалось на маленькие кусочки, на кристаллики — эти самые додекаэдрики. К сожалению, не простые, а обладающие свойством рассыпаться дальше. Я нагибаюсь, пробую взять один, а он у меня под пальцами рассыпается на более мелкие. Пробую ухватить мелкий, он раздробляется уже на совсем мельчайшие. И так до того, что последние было уже не увидеть ни простым, ни вооруженным глазом. Гряда под станком сама собой таяла — оттого, что задевали ее, от всяких мелких сотрясений — и в конце концов исчезла совсем. Но позже-то выяснилось одно печальное обстоятельство. Оказывается, Копс не потрудился предварительно установить, на той стороне он сам или на этой. Не подсчитал, сколько раз лазил через линзу. Проходит год, другой, третий, мы замечаем, что комендант что-то очень хорошо выглядит. Наметившаяся лысина на макушке исчезла, глаза поблескивают, брови, крылья носа и кончики губ приподнялись, сам такой бодренький, подвижной. Подумали мы, подумали и схватились за голову, потому что вспомнили историю с рыбками в аквариуме. Вернее, я схватился, потому что Копсу к этому времени стало как-то на все наплевать. Понимаете, вечная молодость — это одно, а когда человек молодеет вместо того, чтобы стареть, тут шутки плохи. Ну, думаю, пусть ему станет двадцать лет, но потом-то ведь будет

десять, пять, а что там дальше, и представить себе трудно. Туда-сюда, пытаюсь разыскать бумажку, где был записан состав феоназа, чтоб восстановить кристалл, но ничего нету. Выясняется, что все делалось спустя рукава, состав даже и не определяли с достаточной точностью. Пробую узнать что-нибудь про того бородатого пирата — все следы потеряны. А годы-то идут, официально Копс приближается к пенсии, а на самом деле умственно и физически все происходит наоборот. Внешний вид, привычки, манеры — все меняется. До этого он любил свою холостяцкую квартиру, старался там все устроить поуютнее, волок из магазинов всякие хозяйственные новинки. Не прочь был посмотреть футбол по телевизору, кроме детективов, ничего не читал. Проходит время, он перестает заниматься квартирой, забрасывает свое хобби — эти кристаллы, — в библиотеке начинает спрашивать всякую серьезную литературу «с вопросами», пишет заметки в стенгазету и на собраниях выступает с разоблачительными речами. Еще несколько лет — он перебирается в общежитие, потому что одному скучно, футбол смотреть ходит на стадион, митингует там с другими насчет того, с какой ноги пробил во втором тайме защитник из «Динамо». Литература «с вопросами» побоку, подписка у него теперь только на спортивные журналы. Опять текут годы, спорт его уже не увлекает, его место занимает джаз. Заводит себе гитару, мотороллер, каждый день вечеринки и девушки. Еще несколько лет — и опять перемена. Девчонки остались, но только платонически, у самого то одна прическа, то другая, сочиняет стихи, из стариков читает одного Евушенко. Работа у него в голове вовсе не держится, из института его в конце концов увольняют. Подал я было за него на пенсию, но куда там. Согласно документам

ему шестьдесят пять, а пришел на комиссию, там руками развели Шея, как у бугая, в дворовой футбольной команде с мальчишками за главного нападающего. Но и на этом периоде он не задержался. Теперь опять ото-щал, уши не моет совершенно, а недавно, я смотрю, начал собирать этикетки от спичечных коробков... Вы его, кстати, не знали раньше, когда он был еще настоящим Копсом?

Мы рассчитались в баре и шли по улице.

— Раньше нет, — сказал я. — Да я его и теперь не знаю. Разве он, так сказать, функционирует еще?

Краснолицый остановился.

— Кто?

— Да Копс.

— О господи! Так ведь он же со мной. В баре рядом стоял. Теперь ведь я уже не могу его бросить. Столько времени были вместе, и вся эта возня с кристаллом при мне происходила. Так и живем. В институте я дослужился, дали небольшую пенсию. У меня лично запросы небольшие, да и у него сейчас тоже. Трудно было в восемнадцать-семнадцать лет со всеми этими модными пиджаками — с одним разрезом, с двумя, с тремя. Сейчас, в пятнадцать, ничего. Он, между прочим, очень быстро забывает, что раньше знал. Думаю отдать его осенью в школу, в девятый класс, а потом будет переходить соответственно в восьмой и в седьмой. Нельзя же совсем без образования. — Краснолицый вздохнул. — Главная-то у меня надежда, что кто-нибудь заинтересуется этой проблемой, найдет способ восстановить кристалл и повернет Копса обратно. Но обстановка такая, что у всех свои дела, каждому жаль времени — вот, посмотрите, как бегут.

Действительно, никто не шел шагом по улице, за ис-

ключением, пожалуй, зеленой молодежи. С жуткой быстротой менялись на стенах домов синие, красные, оранжевые рекламные надписи, вспыхивали витрины, показывая новые товары, которые завтра станут устаревшими. На наших глазах машины достраивали длинное здание с одного конца, а на другом уже началась перестройка. Что-то гудело под ногами — вероятно, вели линию подземного транспорта. Прохожие неслись бойкой рысью, некоторые — даже в карьер.

— Занятная история, — сказал я. — Хотя бывает и похлеще. Эта штука с феоназом бросает новый свет на проблему свободы воли, случайного и необходимого. Если в антимире все происходит так же, мир в целом скорее всего детерминирован с самого начала... А с другой стороны, может быть, и нет. Что, собственно, меняется? Просто все удвоено, и только. Меня, правда, удивляет, почему путь в антимир проходит именно через кристалл.

— Да потому что кристаллизм, насколько я понимаю, лежит в основе всего. Видимо, бытию в большей степени, чем об этом думали до сих пор, свойственны порядок, симметрия и гармония. Все, что мы знаем как несимметричное, является правой или там левой стороной чего-то такого, до которого мы еще не добрались. Всякому низу соответствует верх, всякому движению — контрдвижение, этим и обеспечиваются вечность и бесконечность. Думаю, что существование — это вообще кристалл. Атом кристалличен, клетка — кристалл, но более сложный. Наше Солнце — кристалл, и вся вселенная тоже.

Мы остановились, потому что строители как раз перегородили улицу глубокой канавой и поставили переносный заборчик. Внизу кипела работа, что-то уклады-

вали, готовясь через несколько минут опять залить мостовую асфальтом.

— Меня, между прочим, иногда злит, — сказал краснолицый задумчиво, — что кто-то там, в антимире, мыслит и поступает совершенно так же, как я. В мельчайших проявлениях дум и действий. Дублируется ведь все, иначе не было б такой точности совпадений. Если я, к примеру, желая вам что-нибудь сказать, вдруг запинаясь и начинаю новое, то и там другой «я» в этот миг делает точно так же. От этого не избавишься, как ни верить. А порой, наоборот, бывает приятно, что я не один. что в антимире есть такой же горемыка, у которого на руках повис второй Копс. Что мы думаем друг о друге, сочувствуем. Хотел бы я встретиться со вторым «я», но это, к сожалению, невозможно. Если б даже была новая феоназная линза и я бы полез к ним, в этот момент тот, второй, вылез бы сюда... Кстати, я сейчас даже не вполне убежден, что я — это я. Может быть, и не два антимира, а бесконечное множество, и с каждым моим путешествием сквозь кристалл я попадал во все новые и новые. Только в четных — как у нас, а в нечетных — наоборот.

Канаву перед нами начали заваливать.

— А вам не кажется, — сказал я, — что, может быть, и нет никаких антимиров, а просто феоназ обладал способностью менять всякое право на лево и процесс, направленный в одну сторону, на процесс, ориентированный противоположно?

Перегородку сняли, и мы двинулись дальше. Краснолицый молчал. На углу был кинотеатр, молодежь валила туда валом.

— Вот он! Смотрите! — краснолицый подался вперед.



Действительно, возле билетерши мелькнула неуклюжая фигура моего юного знакомого. Он подал билет и исчез в провале дверей.

— Так я и знал, — сказал краснолицый, — опять не пообедал — Он вдруг вздохнул и взял меня под руку. — Послушайте, вот вы — этот инбридный синтаксист, что ли? Неужели вам не интересно? Ведь проблема, а? Направили бы Копса назад, сами себе тоже могли бы устроить вечную молодость.

Я вынул из его ладони свою руку и обнял его за плечи, увлекая к скверу, где под липой как раз освободилось два места на скамье.

— Очень интересно. Но я вас выслушал, давайте теперь займемся моей темой. Кристалл по сравнению с этим пустяки. Вот представьте себе ситуацию. Сидит человек, чем-то занимается — предположим, печатает на машинке или собирает схему телеобонятеля. И при этом бешено ревнует. Как вам кажется — эта ревность материальна или нет?.. Не знаете. Или. скажем, ваш случай — вы тоскуете по поводу того, что Копс не туда развивается. Так вот, если с помощью изобретенного мною аппарата, который я, кстати, могу продемонстрировать, эту вашу тоску...



С тех пор прошел год, страсти улеглись, проблема в известной степени поставлена на ноги — она, кстати, и раньше была поставлена тем же самым доктором Райковским из секции биоинформации, который продолжает заниматься ею сейчас. Главный герой истории, Федор Васильевич Пряничков, уже пережил все, связанное со своим внезапным величием и падением, успокоился. Случай, одним словом, можно не держать в тайне, публикация рассказа не вызовет у заинтересованных лиц прежних волнений и сожалений.

В свое-то время, конечно, это было сенсацией.

Однако познакомим прежде всего читателей с личностью самого Федора Васильевича (или Феди, как он рекомендует себя при знакомстве). Работает Пряничков в журнале «Знание и жизнь», заведую там отделом антирелигиозной пропаганды. Издание это, как известно, бойкое и, в общем-то, всеядное — в конце концов, за что ни возмись, все имеет отношение либо к знанию, либо уж наверняка к жизни. Поэтому народ в редакции и в отделе толчется разнообразный — от академиков до школьников, даже до каких-то вовсе диких странников, из которых один утверждает, что своими глазами зрил на Таймыре дыру, доходящую до центра Земли, а вто-

рой веером рассыпает на столе лично им сделанные фотографии господ бога. Приходят сюда и суховатые, с прокурорской логикой физики и восторженные лирики-гуманитарии с буйной шевелюрой и знанием пятнадцати европейских языков. Со всеми, независимо от возраста, званий и заслуг, Федя держится одинаково, к любому посетителю сразу начинает адресоваться на «ты». Но не оттого, что испытывает симпатию, а просто давая понять, что не придает этому человеку значения. Он вообще никому не придает значения — только тем, кого никогда не видел собственными глазами, и этих последних противопоставляет в разговоре своему собеседнику. Явись к нему Иванов, Федя примется толковать про Петрова, статья которого недавно была в «Вопросах философии», однако, если сам Петров предстанет пред Федины очи, речь пойдет уже о том, что вот Сидоров — это действительно голова, и тоже только до личного знакомства с Сидоровым.

Честно говоря, он не слишком-то хороший журналист. Вероятно, работнику печати должна быть свойственна способность зажигаться, а у Феди вид всегда сонный, даже не совсем сонный, а какой-то скучный и разочарованный. Хотя ему всего немного за тридцать, такое впечатление, будто он давно всем перегорел и понял, что из всего ничего не выйдет. А если даже и выйдет, то тех, кто против, не переубедишь. О чем с ним ни заговорить, Пряничков все знает, сразу подхватывает вашу тему и тут же на месте ее приканчивает. Орудует он двумя постулатами. Во-первых, «все это уже было», а во-вторых, «из этого ничего не получится». Остается, правда, непонятным, каким образом при условии, что «ничего не получится», мир от первобытности развился до состояния, в котором сейчас находится, а если «все

уже было», почему он полмиллиона лет назад, в пещерные времена, не стал таким, как теперь.

Разговаривает Федя с авторами неохотно, вынужденно, глядя при этом в сторону и перебирая что-нибудь на столе. Никогда он не похвалит даже принятую им самим статью, поэтому, и напечатавшись в его отделе, человек не получает удовольствия. Неизвестно, что именно сделало Федю Пряничкова таким. Может быть, обилие лиц, желающих опубликоваться на страницах «Знания и жизни», — из-за этого обилия Федя главную задачу видит в том, чтобы отпихивать материалы, а не организовывать их. Но, с другой стороны, он и в личной жизни такой же вялый. Женился случайно, будущей жене ни разу не сказал, что любит. Дома ничем не восхитится — ни обедом, ни четверкой, полученной дочкой по арифметике. Похоже, что он вообще никаких чувств не испытывает. Обрати его внимание на девушку-красавицу, угости рюмкой армянского коньяка, дай побывать на концерте Рихтера или на первенстве Москвы по боксу, где новичок срубаёт олимпийского чемпиона, — на все в ответ только унылое «ничего-о...». Будто стенка между ним и действительностью.

Роста он среднего, внешности тоже средней. На летучках и разных собраниях либо помалкивает, либо присоединяется к большинству выступавших. Живет, в общем, наполовину или на треть. Вроде не проснувшись.

И надо же, чтоб именно на Федю попал в редакции тот приезжий с вешмешком.

Случилось это пятнадцатого июля в прошлом году. Жарища тогда, как все помнят, стояла в Москве сатанинская. В квартирах на солнечную сторону жизнь была вообще невозможна, в квартирах на теневую — возмож-

на лишь на ограниченном пространстве между вентилятором и бугылкой пива из холодильника. Даже ранним утром троллейбусные пассажиры мгновенно прилипали друг к другу и на работу ехали слитной спекшейся массой, которую очень трудно было раздирать. Каждый, кто мог, бежал, естественно, из столицы на озеро Селигер, на Рижское взморье или Алтай — рассказывают, что несколько журналистов-международников бежали от жары даже в Сахару. Опустилась и редакция «Знания и жизни». В большой комнате, где, кроме Федино, помещались еще отделы воспитания и быта, остался один только Пряничков за своим антирелигиозным столом.

В полдень, окончательно замороченный духотой и письмами читателей, Федя вынул из кармана ядовито-желтую пилюльку поливитамина — он летом тоже их употреблял, — лег грудью на стол и уныло посмотрел в окно, за которым раскинулся широкий вид на залитую беспощадным светом Гостиничную улицу. (Редакция тогда помещалась на первом этаже здания Химического музея — это ее уже потом перевели куда-то к черту на кулички, где ее и найти никто не может.)

От метро вдоль фасадной стороны музея размашистой, свободной поступью шагал дородный мужчина с яркой каштановой бородой. Кроме бороды, при нем был здоровущий вешмешок, а на нем толстый геологический изыскательский пиджак неопределенного цвета, добела выгоревшие брюки и тяжелые русские сапоги. Прямые солнечные лучи смели с улицы почти все живое, они били сразу наповал, но бородатый выступал, явно наслаждаясь собой и всем вокруг. Даже чудовищное при такой погоде обмундирование не стесняло его, не мешало любоваться погрузившейся в голубое марево Москвой.

Увидев вещмешок и особенно сапоги, на которых даже издали ощущалась пыль дальних странствий, Федя затосковал. Он понял, что путешественник направляется к нему.

А мужчина с вещмешком не торопился уйти с солнышка. На него сослепу налетела окончательно раскисшая, киселеобразная дамочка с продуктовой сумкой в руке. Бородатый отскочил, извиняясь, а затем сказал дамочке нечто до такой, видимо, степени галантное, что она тотчас подобралась, оформилась во всех своих частях, гордо закинула голову, заулыбалась и дальше двинула такой ладной походочкой, что поглядеть любодорого. Мужчина коротко пообщался с хозяйкой ларька «Мороженое», она некоторое время смотрела ему вслед, потом, повинувшись неясному инстинкту, порывисто встала и протерла тряпочкой переднюю стенку своего прозрачного убежища.

Энергия исходила от незнакомца, ею заряжалось окружающее. Чудилось, будто в результате его жестов возникают новые структуры магнитных полей и гравитационные завихрения. Он прошел мимо окна, исчез из поля зрения Пряничкова, но через минуту Федя услышал в коридоре редакции тяжкий грохот сапожищ. Впрочем, бородатый предупреждал о своем приближении, воздействуя не только на слуховые рецепторы, но проявляясь, так сказать, и в обонятельном ряду. Заранее запахло сапогами, вещмешком, солью, пылью, солнцем, перцем, сосновой смолой и еще всяким таким, чего Пряничков и определить не мог.

Мужчина вошел. Все в нем было крупным, выраженным, полнокровным. В комнате стало тесно, паркетные половицы прогибались, жиденькие редакционные стулья разлетались в стороны. Мужчина поздоровался, пред-

ставился — Федя тотчас забыл и названную фамилию, и профессию — снял вещмешок со спины, развязал горловину и достал снизу, из-под связок книг и всякого другого имущества, порядочно замусоленную нетолстую тетрадку в дерматиновом переплете. С нею он подошел к Феде и сказал, что хотел бы представить для опубликования результаты некоторых опытов по сну и бодрствованию, равно как и теоретическое истолкование этим экспериментам.

Федя, само собой разумеется, оттолкнул тетрадку.

— Не пройдет, — сказал он. — Через редколлегию не пройдет, прямо тебе скажу. Не та тема и имя не то. Кроме того, не ново. Про сон уже печатали и про бодрствование.

Мужчина прервал его.

— Так, значит, мы уже на «ты», — задумчиво произнес он раскатистым интеллигентным басом. — Польщен, конечно...

Тут он внимательно оглядел Федю Пряничкова, как если б только теперь по-настоящему увидел: немощную ручку, которую тот оборонительно выставил, серый галстучек на серой рубашке.

Физиономия бородача потеряла благодушие, что-то раздерганное, отрывистое появилось в глазах за стеклами очков. На миг в комнате сделалось напряженно, как в ожидании взрыва. Затем все покатилося обратно, мужчина усмехнулся, стал опять похожим на большого доброго медведя.

— Ладно, — согласился он. — Не понравится — не станете печатать. На сохранении рукописи не настаиваю, можно мне не отвечать. К этой проблеме я уже не вернусь, ждут другие дела.

Он отодвинул Федину ладонь, положил тетрадку на

край стола. Полез к себе во внутренний карман пиджака, извлек оттуда крошечный пакетик из затертого газетного обрывка. С трудом развернул заскорузлыми махорочными пальцами, освободил белую таблетку.

— Вот. Если найдется доброволец, можно попробовать... А засим, — он выпрямился и выкатил грудь колесом, — разрешите откланяться.

Официальность этой позы заставила Федю встать, что было, в общем-то, против его правил.

Бородатый еще раз улыбнулся — теперь он окончательно стал тем галантным бонвиваном, каким был на улице. Он приятельски хлопнул Пряничкова по спине, отчего у заведующего антирелигиозным отделом содрогнулся от первого позвонка до тридцать третьего весь позвоночный столб, горячо встряхнул Федину руку, вывихнул ее при этом, извинился, тут же вправил, проделал в свой вещмешок и ушел — может быть, открывать нефтяное месторождение под Байкалом, может быть, строить аппарат для прямого преобразования времени в пространство.

Прозвучали, удаляясь, его шаги в коридоре, медленно слабели запахи.

Пряничков стоял у стола встряхнутый, всклокоченный и расшатавшийся. Он взял тетрадь, брезгливо перелистнул несколько страниц. Почерк был адский, бегущий, текст повсюду уродовали зачеркивания, исправления, стрелки. Федя с трудом понял фразу: «Множество людей, как правило, спит». Он хмыкнул. Тут же речь шла о пиковых состояниях, и с великой мукой Пряничкову удалось разобрать:

«...видим, что большинство пиковых состояний являются феноменами приятия, приема. Вопрос в том, чтобы личность умела впу-



стить их, отжаться, снять тормоза, позволить... Природа Существования предстает тогда в обнаженном виде, а вечные ценности кажутся атрибутами самой Реальности...»

Далее на десяти листах с обеих сторон следовали уравнения, таблицы, графики, параболы и прочее. Все заканчивалось длинной химической формулой, в которой Пряничков разобрал только начало.

Федя вздохнул, представляя себе хлопоты, связанные с тем, чтобы расшифровать этот бред и осмыслить, или с тем, чтобы поручить расшифровку и осмысление рецензенту, которого надо сначала найти, уговорить.

Он вздохнул еще раз, воровато огляделся, проследовал в угол комнаты и уронил тетрадку в корзину для мусора. Затем, обессиленный решительностью этого деяния, вернулся на свое рабочее место, сел, нервно взял витаминную таблетку и проглотил ее, глядя в окно. Посмотрел на стол перед собой и понял... что он ее не проглотил.

Желтая пилюлька лежала возле баночки со скрепками, но не было той белой таблетки, что мужчина с вещмешком положил тут же.

Следовало испугаться, но по вялости характера, а также из-за жары Федя не смог. Он уныло махнул рукой.

Вторая половина дня укатилась в прошлое и стала историей без происшествий. Пряничков спокойно досидел положенное ему время. Но когда он вышел из метро на станции «ВДНХ», уже позабыв о белой таблетке, и проследовал к себе на улицу Кондратюка, он вдруг заметил, что асфальт мостовой приятно лиловет под лучом вечеряющего солнца. Это немножко испугало Федю, поскольку он никогда не обращал внимания на цвет асфальта, привычно считая его серым.

Дома Федя поужинал макаронами с сыром и

вскользь заметил, что сыр ярославский. Жена Шура подтвердила высказанную мысль — обычно она брала к макаронам костромской, но на сей раз действительно изменила ему ради ярославского. Фебина вкусовая проницательность озадачила Шуру, так как муж всегда перекладывал в себя содержимое тарелок с полным равнодушием, да эти сыры и вообще не очень-то отличишь один от другого.

А после ужина началось по-настоящему странное. Поднявшись из-за стола, Федя не устроился в кресле, чтоб подремать у «голубого экрана», а принялся ходить по квартире. Вид у него был обеспокоенный. Он то вытаскивал из застекленного парадного книжного шкафа тяжелый фолиант «Детской энциклопедии» и тревожил незапятнанную белизну страниц, то недоуменно разглядывал фаянсового жирафа за стеклом царственного серванта. Посидел на диване, потирая руки и явно мучаясь, встал и вдруг сказал, что ему хотелось бы порисовать. Такого желания в доме никто никогда не выражал, никаких рисовальных принадлежностей не оказалось. Но Пряничков не успокоился, стал спрашивать, нельзя ли что собрать по соседям. Дочка вспомнила, что живущий наверху тринадцатилетний Юрка Воронин занимается в Московской художественной школе. От щедрого Юры Пряничков вернулся с листом полуватмана и чешским механическим карандашом. Он разрезал лист на куски и попросил дочь позировать ему. Наташа натурщицей была плохой, она все время вертелась. Тем не менее Федя сделал рисунок, рассмотрел его и тут же, разорвав, выбросил. Второй рисунок, для которого позировала жена, постигла такая же судьба, но третий, изображающий Шуру, и сейчас можно увидеть в коллекции доктора Райковского. Перед тем как взяться за

него, Пряничков, несмотря на поздний час, еще раз поднялся к Ворониным и попросил у Юры какое-нибудь пособие по рисованию. Оно нашлось, и весьма солидное, — «Школа изобразительного искусства» в десяти томах. Федя принес, прижимая к груди, весь этот ворох книг и принялся просматривать.

Уже настала ночь, жена и дочка легли. Несколько раз просыпаясь, Шура видела мужа то сидящим с карандашом в руке напротив их общей постели, то слоняющимся из комнаты в комнату. Ей спалось тревожно, она спрашивала себя, не сошел ли супруг с ума.

Пряничков заснул около четырех, встал в девять. Он быстро позавтракал и тут же, на кухне, не вставая из-за стола, сказал, что им нужно продать сервант.

Померкни внезапно белый свет и высыпи на небе звезды, это не произвело бы на Шуру большого впечатления. Как раз главную часть гарнитура за тысячу шестьсот, на который долго и самоотверженно копили, составлял сервант. Роскошный и властный, он в течение нескольких лет был предметом мечтаний и теперь, можно сказать, доминировал в жилище Пряничковых, как собор в средневековом городе. Сервант намеревались со временем заполнить сервизами и хрусталем, без него дом делался не домом, семья — не семьей.

Слезы брызнули из Шуриных глаз и прожгли мыльную пену в раковине водопровода. Она попробовала возражать, но сбивчиво и бестолково. Федя погладил жену по плечу и объяснил, что дома много вещей решительно никому не нужных при том, что не хватает необходимого. Шура в смысл его слов не вникала, продолжая бормотать свое, но тут взгляд ее упал на последний рисунок мужа, почему-то оставшийся с ночи на подоконнике. Она безотчетно взяла лист и стала его

рассматривать, всхлипывая. Незнакомая гордость вдруг затеплилась в ее сердце. Спящая молодая женщина на рисунке была и похожа и не похожа на настоящую Шуру. Плечи, шея вроде были те же, но все обволакивали теплота и поэзия, каких Федина жена за собой и не подозревала.

Пряничков воспользовался заминкой, быстро вызвал по телефону ближайший мебельный комиссионный. Через сорок минут оттуда прибыл проворный самоуверенный красавец — заместитель директора, а за ним на лестнице тяжело, словно ломовые лошади, вздыхали и топтались трое молодцов-грузчиков, заранее показывая своим поведением, сколь нечеловечески велик предстоящий им подвиг, за который следует рассчитывать, само собой разумеется, не по прейскуранту.

Квартира к этому моменту уже выглядела, как после землетрясения. Из книжного шкафа Федя успел выгребсти первый, внешний, ряд книг, за ним, во втором слое, обнаружили подписные Томас и Генрих Манны, трехтомная «История кино» и еще много разного. Все вещи были стронуты с привычных мест, навалом лежали на полу позапрошлогодние «Огоньки», зачем-то копившиеся на так называемом «журнальном столике», стопа досок громоздилась на кухне, и стену большой проходной комнаты обмерял дядя Ваня — водопроводчик, по совместительству столяр, электромонтер, натирищик полов и в целом всеобщий домовый работник, который с одинаковым успехом (или, точнее, неуспехом) брался за любое предприятие.

Элегантному замдиректора Пряничков предложил не только сервант, но и упомянутый столик, могучий книжный шкаф торшер с двумя рожками и трюмо. За это последнее Шура стала грудью, как тигрица, охраняю-

шая дитя. Но в Феде теперь возникла мягкая, настойчивая убедительность. Он сначала соглашался с доводами жены, но потом развивал их дальше, в результате чего выходило, что трюмо совершенно без пользы стоит в маленькой комнате, занимая место и бесцельно отвлекая на себя умственную энергию. Мягкость в голосе мужа была Шуре непривычна, потому что раньше они с Федей объединялись только против чего-нибудь — например, против отсутствия горячей воды в кране.

В конце концов Шура махнула рукой. Пока замдиректора выписывал квитанции, бросая кокетливые, зазывные взгляды на Пряничкову-старшую и даже по инерции безотчетно на двенадцатилетнюю Наташу, трое богатырей со стенаниями и воплями взяли за сервант. Они так ожесточенно спорили и так громко жаловались, что могло показаться, будто еще ни разу в жизни им не приходилось выносить из квартиры что-нибудь большее, чем табуретку. Поэтому удивительной была легкость, с которой сервант под аккомпанемент непрерывных воплей вдруг проплыл на лестницу.

Тут же в раскрытых дверях возник скромного вида работник из букинистического — Шура потом вспомнить не смогла, когда муж успел вызвать и этого. Специалисту по книгам Федя отдал «Детскую энциклопедию», «Историю кино» и целый десяток толстых подарочных изданий вроде «Молодежь в искусстве» или «Балет Большого театра». Отдал он было и Томаса Манна, но, раскрыв один томик на случайной странице, задумался, отложил.

Шура чувствовала себя среди этого разгрома, как на вокзале во время посадки, когда сам не едешь. Она не знала, куда сесть или куда стать. Со всех сторон на нее что-то двигали, предупреждающе гикали. Стучал

молотком дядя Ваня, Федя бегал с раствором коричневой морилки. Но когда была вынесена мебель, когда у стены воздвиглись наскоро сработанные полки, в квартире вдруг стало не только просторно, но молодо и по-странному освобожденно.

Реформы, однако, на этом не кончились. Пряничков продажей занимался невнимательно, квитанции подписывал не глядя, деньги за книги принял не считая. Он все к чему-то стремился, внутренне был уже не здесь и, рассчитавшись с дядей Ваней, вручив трем рыдающим атлетам десятку, которая их тотчас успокоила и сделала безразлично грубыми, отправился в центр. Но не в журнал, поскольку у него был личный выходной взамен отработанного воскресенья, а по магазинам. Домой он привез мольберт, этюдник, коробку с масляными красками, холсты на подрамниках и еще несколько пакетов, содержимое которых выяснилось для Шуры с дочкой позже.

Было еще только два часа, ослепительно солнечный день. Федя быстро пристроил у затененного шторой окна мольберт, этюдник на ножках и, ежеминутно консультируясь со «Школой изобразительного искусства», взялся за дело. Домашним было понятно, что он хочет прежде всего добиться сходства изображенного на полотне с изображаемым. Федя пробовал писать то чашку, то спичечный коробок. Мольберт показался ему неудобным, он переделал его с помощью нескольких столярных и слесарных инструментов, приобретенных на улице Кирова. Быстрота, с которой он начал и кончил переделку, поразила жену. У Пряничкова как-то исчез промежуток между решением и деянием — задумав, он тотчас исполнял.

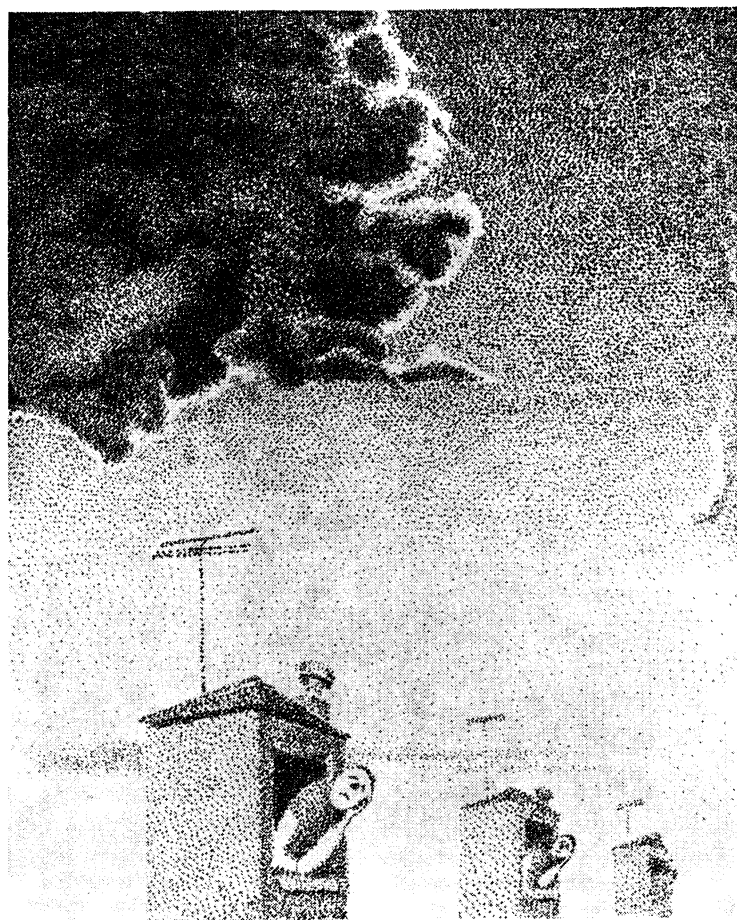
Потом Шура поехала на работу на Центральный те-

леграф, а к Феде присоединилась Наташа. Успехи дочери были невелики, а Федя прогрессировал в удивительном темпе. К вечеру написанный им карандаш хотелось приподнять пальцами, а чашка тут же рядом столь живо, выпукло лезла с холста, что казалось — вот сейчас упадет — и в скорлупки.

Однако не сходство было для Феде конечной целью. Когда жена приехала в полночь, Пряничков, пользуясь все той же «Школой», учился рисовать глубокое синее небо, как на картинах итальянского Возрождения, и отчетливые части зданий в манере Каналетто. Он откровенно списывал с репродукций, и Шура видела, что получается.

На следующий день — то была суббота — Федя встал в шесть и чрезвычайно устремленно за три часа написал в старинном стиле воображаемый пейзаж с путниками. Путников он почему-то одел в трико красного цвета, отчего они казались не то клоунами, не то представителями внеземной цивилизации, чей звездолет на картине не поместился. Пряничков был так поглощен, что как бы проснулся и осознал, где находится, только закончив вещь. Прошелся по комнатам, насвистывая, обнял жену, поцеловал дочь в белокурую макушку, позавтракал, похвалив свежий орловский хлеб. Домашние никогда не видели его таким оживленным.

Затем, действуя с прежней энергией, Федя покрыл свою картину мгновенно сохнущим лаком-фиксатором и поехал на Преображенский рынок, где за овощными рядами помещается комиссионный магазин, принимающий все, от ношенных ботинок до произведений искусства. Пейзаж оценщику понравился, он предложил за него пятнадцать рублей. Пряничков протянул было свой паспорт, но тут выяснилось, что он же и является авто-





ром вещи. Оценщик возвратил ему пейзаж и посоветовал обратиться в закупочный фонд Министерства культуры РСФСР. Федя на площадь Ногина не поехал, а вместо этого дома в течение получаса теребил свое произведение, прогревал и коптил его над газовой плитой. Когда оно приняло достаточно затертый вид, Пряничков вызвал такси и отправился на Гостиничную улицу в антиквариат. Сидевшая там в подвале очень современная девица в четырехугольных очках, в клетчатой короткой юбке пейзаж в руки не взяла, велела поставить его к стенке, издали, закинув ногу на ногу, рассматривала минуты две, а затем решительно отнесла вещь ко второй трети XVIII века. Ее несколько смущили красные клоуны, она позвала еще одного специалиста, вдвоем они спорили некоторое время, не прикасаясь к картине, переходя порой с русского на французский, немецкий и английский, презрительно игнорируя Федю, который помалкивал. В конце концов «Пейзаж с замком и путниками» был оценен в двести шестьдесят рублей и выставлен с табличкой «Ин. школа», каковая надпись означает, что неизвестны ни автор, ни страна, ни эпоха. Федя еще отирался в выставочном зале разглядывая старинные подсвечники и всякие другие интересные штуки, как турист в замшевых штанишках ткнул пальцем в клоунов. Тут же все было оприходовано, снято, сбалансировано, Пряничков получил деньги и пошел в авиакассы в Черкасском переулке.

На улицу Кондратюка он приехал к трем часам и велел домашним приготовить купальные костюмы, так как все они поедут на воскресенье в Ялту. Билеты на самолет были при нем.

Аэродром, белоснежный ТУ, улыбающаяся стюардесса. В Симферополе сели в автомобиль, возле Алушты

море синей стеной стало до горизонта. Ночевали в частном саду на топчанах, виноград спелыми гроздьями висел на лозах — рубль кило, — и волны до утра шуршали галькой, подмывая берег.

Днем на пляже Шура стала робко допытываться, зачем они приехали. Муж ответил — затем, чтоб доставить ей удовольствие. Шура сказала, что поездка стоит слишком дорого, и Федя возразил, что нет в мире ничего слишком дорогого для такой женщины, как она.

Вечером шуршали шины автомобиля, в обратном направлении проносились Гурзуф, Артек, Бахчисарай. Шура сидела впереди рядом с шофером, ветер струил ей волосы. Она думала о том, как а я же она женщина. На лице у нее было загадочное выражение, как у Ларисы Огудаловой в фильме Протазанова «Бесприданница».

Снова юг Советского Союза повис под ними на восьмикилометровой глубине. Начало темнеть. Млечным Путем разбежались по горизонту огни Москвы. На улицу Кондратюка приехали ночью, квартира без гарнитура, разоренная, пустая, напоминала жилище гения.

В понедельник в девять Федя вышел из дому, и мир ударил цветом, звуком, запахом. Асфальт был уже не просто фиолетовым, в нем играли, лоснились красные, желтые, коричневые оттенки, он каменел в местах, где только что подсохли лужицы ночного дождика, а на солнце ласково уступал подошве. Облачные замки воздвигались в небе, раскинувшись над просторным предпольем всесоюзной выставки. Сияли кресты древней церкви возле гостиницы «Золотой колос», ракета рва-

лась в космос с обелиска, а позади на дальнем плане тонула в сизости и голубизне синяя игла телевизионной башни. Лирической поэмой шла к автобусной остановке длинноногая девушка, короткими стишками гонялись друг за другом на газонах завтрашние первоклассники. Праздновался замечательный юбилей — ровно сто миллионов дней прошло с того момента, который прокатился над задымленными пещерами сто миллионов дней назад. И в то же время все только начиналось, как раз до этого мига доехало длинное прошлое, отсюда распростерлось будущее.

В редакции еще никого не было, Пряничков ключом отворил свою комнату и сразу шагнул к корзинке. Но она была пуста, так же как чистыми, продезинфицированными стояли и суровые железные ящики во внутреннем дворе; дворник сообщил, что заполненные вывезли еще в шесть утра. Федя проконсультировался относительно месторасположения помойки и поехал в Хворостино. Он все еще надеялся, но когда такси остановилось на краю гигантского поля, сердце у него заныло. Вдаль, куда хватал глаз, раскинулись монбланы и казбеки мусора, урчали какие-то механизмы, шла титаническая работа по возврату отходов города обратно в сферу производства и потребления. Чтобы найти тут что-нибудь определенное, потребовалось бы время, сопоставимое с существованием самой солнечной системы. Пряничков понял, что игра не стоит свеч — тетрадка, принесенная мужчиной с вещмешком, практически перестала существовать.

Но ждала работа. Вернувшись в журнал, он поставил на стол машинку, снял пиджак и, не разгибаясь, ответил на все читательские письма, что накопились с последнего крупного разговора в кабинете ответствен-

ного секретаря Это был каскад, водопад. Потрепанная немецкая «оптима» стрекотала и лязгала час за часом, готовые листы мелькнув белизной в воздухе, вспархивали с каретки с интервалом в шестьдесят секунд. Такого плотного симбиоза человека с пишущей машинкой еще не видывали в редакции. Застыл с отвалившейся челюстью завитотдела, заглянувший было выкурить сигаретку, только покачал головой и прикрыл за собой дверь бывалый заместитель редактора.

Однако главное состояло не в скорости печатанья, а в изобилии мыслей. Каждый из нас прочитывает за жизнь бесконечно много, каждый не помнит из прочитанного почти ничего. А Федя вдруг вспомнил. Вся бездна концентрированной, отредактированной премудрости, заключенной в печатном слове, лавина строк, которая по большей части бесследно, будто намыленная, проскальзывает по нашему сознанию, явилась теперь к нему и раскинулась ожидая. Пряничкову оставалось только откидывать лишнее. Сам себе энциклопедия и даже целая библиотека, он мог цитировать любого классика с любого места, не забыв того, что значилось на обрывке «Вечерней Москвы», в который мама вернула ему бутерброд еще в шестом классе.

Безграничный резервуар знания висел и качался над его головой — выпускай оттуда хоть тоненькую струйку, хоть как из пожарного крана.

За двести минут, регулируя напор собственных и чужих мыслей, Федя ответил на сто двадцать писем — несколько ответов были затем опубликованы статьями в разных газетах. пятнадцать наиболее пространных вышли отдельной брошюрой под названием «Боги живут на земле».

Кроме того, в этот день Пряничков сделал свое пер-

вое изобретение, написал новую картину и выучился играть на рояле.

С изобретением было так. Федя отпечатал последнее письмо, вынул опустевший ящик, выколотил его, потянулся, и в этот миг к нему вошел посетитель.

Пряничков тотчас встал, поздоровался, отрекомендовался, спросил имя и отчество вошедшего, поставил ему стул и сам уселся напротив. Посетитель оказался ходоком от сектантской общины в городе Заштатске, он принес для рассмотрения кусочек лат Георгия Победоносца. Федя повертел в руках темный ноздреватый осколок, подумал и предложил сходить в Институт металлов, приближенно установить время выплавки. Тут же он созвонился с кем надо, вдвоем они поехали в институт, где обломок был бесспорно определен как часть казахского котла для варки бешбармака. Обстановка научно-исследовательского учреждения со сложной аппаратурой, но еще более Фебина доброжелательность так ошарашили ходока, что он на месте отрекся от своих ошибочных верований и сейчас является лучшим пропагандистом-антирелигиозником заштатского районного отделения общества «Знание».

Пряничков же познакомился в институте с сотрудником лаборатории усталости металлов и, разговаривая, вошел с ним в большую комнату.

— Вот здесь и работаем, — объяснил сотрудник. — Подвергаем образцы металла знакопеременным нагрузкам, потом изучаем структуру излома... Но это все ерунда. Понимаете, пружинка может гнуться в одну и другую стороны сто тысяч раз, а потом ломается. Причем неожиданно. Какие-то там должны быть предварительные структурные изменения, когда начинается усталость, но мы не можем их уловить.

Пряничков между тем жадно оглядывал лабораторию.

— А как вы испытываете образцы, трясете? — спросил он.

— Трясем Ультразвуком.

Установка стояла рядом — черный ящик генератора. Отдельно в масляной ванне купался вибратор.

Федя поднял руку.

— А это что?

— Это для рентгеноструктурного анализа. Рассматриваем место излома.

Пряничков нервно покрутился по комнате, потом спросил:

— Есть у вас триод на высокое напряжение?

Короче говоря, он предложил синхронизировать импульсы рентгеновского излучения с ультразвуковыми колебаниями вибратора. Дело было в том, чтоб лучи подхватывали пружинку только в момент наибольшего отклонения; тогда она казалась неподвижной, и можно было наблюдать постепенные изменения структуры. Патент на «Способ получения лауэрограмм упруго деформированного кристалла» был выдан впоследствии под № 700505 и явился первым из четырех, врученных Пряничкову в тот памятный год.

Но понедельник на этом не кончился, было только пять.

Простившись с воодушевленными сотрудниками лаборатории, проводив на Казанский преображенного сектанта, Федя приехал домой и сел к мольберту. Поскольку написанная картина была им продана, он счел предварительный период оконченным и взялся за свое личное. Станным образом он ничего не использовал из того, чему обучался, то есть классического синего неба

и даже освоенной им иллюзии сходства. Шура и Наташа видели, как на холсте постепенно возникает кусочек столицы ранней весенней поры, когда еще не вполне стаял снег, кусты вдоль трамвайной линии топорщатся голыми, а перспективу улицы заволакивает мутный воздух. На полотне было утро, рабочая и служащая Москва катила к местам работы, в тумане вырисовывались троллейбусы, автобусы, и единственным ярким пятнышком светил огонек светофора. Шура узнала проспект Мира возле Новоалексеевской. Особых примет времени не было, но ощущалось, что это как раз наш год, эпоха спокойного труда семейных и бытовых радостей, некоего размеренного существования, накопления сил перед новым скачком.

Вещь была сделана небрежно в деталях, но слитно в целом. Пряничков назвал ее «Пассажиры метро», и, хотя никакого метро там не было, название очень подходит. «Пассажиры» находятся сейчас в зале № 49 Третьяковской галереи, где читатель и может полюбоваться ими, если, конечно, его визит не совпадет с открытием какой-нибудь очередной выставки — в этих последних залах экспозиция то и дело меняется, одно убирают, другое вешают, ни в чем нельзя быть уверенным.

Федя писал до восьми, а в восемь к Наташе пришла учительница музыки. В большой комнате у Пряничковых стояло пианино «Рёниш», на котором Фебина дочка уже третий год подряд пилила «Старинную французскую песенку» Чайковского, не в силах сдвинуться дальше. Эти занятия в семье рассматривались как выполнение некоего общественного долга, эмоциональная сторона музыки от супругов ускользала, они даже не слышали звуков во время урока.

Теперь Федя услышал. Он начал кивать за своим мольбертом в такт исполнению, нахмуривая брови при Наташиных промахах. Когда положенный час подошел к концу, Пряничков поднялся, перенес стул к пианино и спросил, с чего, собственно, начинают обучение. Преподавательница, Иветта Митрофановна, была молода, перед родителями своих учеников робела. Она неуверенно показала запись нот на нотном стане и их расположение на клавиатуре.

— Дальше, — сказал Федя, придвигаясь поближе к инструменту.

— Что «дальше»? — спросила Иветта Митрофановна.

— Как потом?

— Потом я добиваюсь, чтобы ученица запомнила.

— Я запомнил, — кивнул Пряничков.

Учительница посмотрела на него недоверчиво.

— Вот это какая нота?

— Ля-диез большой октавы. Она может быть и си-бемолью.

— А эта?

Федя ответил.

— Ну что ж, — Иветта Митрофановна задумалась на миг. — Потом гаммы до мажор и соль минор каждой рукой отдельно и двумя вместе. Постановка пальцев...

Она сыграла гаммы, и Пряничков на малой октаве тотчас повторил их — первую так же бойко, как преподавательница, вторую еще ловчей.

Иветта Митрофановна повернулась к нему:

— Послушайте, вы учились?

— Нет! Честное слово, нет. — Пряничков был ужас-



но взволнован и весь дрожал. — Но давайте пойдем вперед, прошу вас.

И в голосе его и на лице было такое чистосердечие, что Иветта Митрофановна поверила. Она перебрала жиденькую пачку нот у себя в портфеле.

— Хорошо. Попробуем разобрать что-нибудь простенькое.

Наташа, которая из вежливости стояла тут же рядом, отступила потихоньку и отправилась к подруге. Шура вышла на кухню. До нее доносились голоса мужа и учительницы «В фа-диез мажор будет уже шесть знаков», — говорила Иветта Митрофановна. «Понятно-понятно», — соглашался Пряничков. Потом слышались словечки вроде «стаккато», «пианиссимо», какое-нибудь там «сфорцандо» Пианино дышало все шире, глубже, полной грудью

Без пяти одиннадцать, глянув на ручные часики, Иветта Митрофановна откинулась на спинку стула и в испуге уставилась на Пряничкова.

— Знаете, за два часа мы прошли пятилетний курс!

Федя кивнул, трепетно взял сборник «Избранных фортепьянных пьес», раскрыл на штраусовском вальсе. Пошептал, глядя в ноты, подался вперед, поднял руки и...

И вошло настроение. Сама беззаботная Вена явилась в комнату, эпоха утонченных нравов, остроумия, кокетства Танцевали девушки в длинных платьях и веселые кавалеры Изысканную учтивость неожиданно сменяло дерзкое легкомыслие, загадочная робкая мечтательность плела свой напев, вдруг уступая место искрящемуся веселью. Длился бал, летели зажигающие взгляды. Потом танцоры устали, начали гаснуть свечи и погасли совсем.

Пораженный, Федя осторожно снял руки с клавиш, огляделся — казалось, пианино вовсе и не принимало участия в том, что только что произошло. Хрипло кашлянула в тишине учительница, вздохнула остановившаяся в дверях Шура.

Кто-то негромко переговаривался во дворе, параллельной улицей шел почной троллейбус, негромко скрипя и свистя проволокой, переулком прогрохотала загородная уставшая грузовая машина, торопясь в дальний гараж, и отзвуком чуть слышно шуршали в комнате платья разошедшихся танцоров. Прошлое связалось с настоящим, плоский мир стал объемным.

На следующий вечер Пряничков слушал муж Иветты Митрофановны, молодой, бледный музыкант-исполнитель с растрепанной шевелюрой. В среду Федя дважды играл перед почтенными преподавателями консерватории, и его там таскали по методкабинетам. В четверг раздался телефонный звонок из филармонии, и сам Чернокобельский предложил открытые концерты с поездкой по Советскому Союзу.

Но Пряничков занимался не только музыкой. Во вторник он притащил домой купленный по случаю за триста пятьдесят рублей миниатюрный токарный станок, еще через день — пишущую машинку. В этот же вечер он что-то вытачивал, в четверг утром ни с того, ни с сего написал этюд о Бальзаке.

В редакции на работе в его манере общаться с авторами появилось что-то, напоминающее князя Мышкина из Достоевского. Пряничков стремился как бы слиться с собеседником, полностью стать на его точку зрения и лишь отсюда начинал рассуждать, поминутно сверяясь с оппонентом, радуясь, даже если в конце концов приходил к выводу, отрицающему то, с чего он

сам начинал. Он готов был с такой серьезностью отнестись к любому, даже заведомо дурацкому, замечанию, что некоторым неудобно делалось. А Федя не обижался и хохотал, заметив, что попал впросак. Плохие статьи вдруг перестали существовать, в каждой Пряничков находил интересное, вытаскивал его вместе с автором, и если материал не подходил для журнала, советовал, куда с ним пойти. Народ повалил в антирелигиозный отдел, за неделю Пряничковым было обеспечено целое полугодие. В ходе производственного совещания замредактора потребовал внести в резолюцию, что именно Федиными усилиями «Знание и жизнь» подняты на новую высоту.

Выполнял свою должность Федя легко. Утром, кончая завтрак, уже всей душой стремился в журнал, а к пяти тридцати начинал радостно предвкушать, что же сулит ему и семье вечер.

Дом Пряничковых между тем неудержимо менялся. Квартира стала чем-то средним между студией художника и ремонтной мастерской. Рядом с первым мольбертом возник еще один, для Наташи, эскизы перемешались со слесарными инструментами, на столе расположились акварельные и масляные краски, на пианино раскрытые ноты. Пол — в прошлом предмет неустанных забот Шуры — был затертым, железные опилки ввелись в щели между паркетинами. Часам к восьми приходили спецы из Института металлов, музыканты, которых навел муж Иветты Митрофановны, художники, журналисты. Повадился сильно ученый математик из университета, который, толкуя, всегда смотрел вверх, вывернув шею, будто на потолке или в небе видел свои и чужие соображения уже отраженными и абстрагированными. Из Заштатска ехали родственники того сектан-

та, потом пошли знакомые этих родственников и родственники знакомых. Отличные это были вечера. Звучал рояль, составлялись конкурсы на лучший эскиз или карикатуру, вспыхивали дискуссии о судьбах человечества, читались стихи, порой тут же сочиненные. В час выговаривалось столько умного, сколько у прежних Пряничковых не набралось бы за пятилетку. Художники учили Федину дочку рисовать, пианисты показывали ей современные песенки. И Шура тоже постепенно делалась раскованней. Во время споров глаза ее сочувственно перебегали от одного говорящего к другому, иногда она уже готова была что-нибудь сказать, но всегда кто-то в комнате опережал ее. Она переводила взгляд на этого нового и, в общем, всем очень нравилась.

В двенадцать, проводив гостей до метро, Пряничков помогал жене перемыть посуду. Вдвоем они стояли минуту-две над заснувшей дочкой. Шура стелила постель, Федя еще бродил по комнатам. Пространство и время были бесконечно содержательны. Ночная квартира являла собой сокровищницу предметов, из которых каждый годился послужить натурой для создания шедевра. Великую мудрость таили непрочитанные книги на полках. Хотелось рисовать, двинуть задуманное изобретение, сочинить кантату.

Сутки стали емкими. Пряничков спал часа по три. Всего с пятнадцатого по двадцать девятое июля он оформил четыре патентных заявки в Госкомитет по изобретениям, сделал три живописные картины, около сорока рисунков и линогравюру. Он дал два фортепианных концерта в Малом зале консерватории, написал восемь статей, сценарий для мультфильма, текст для номера с удавом в цирке и помирил подавших на раз-

вод соседей по лестничной площадке. Он начал писать роман, доказывать теорему Ферма, учить жену английскому, выкапывать во дворе бассейн. Человек Федор Пряничков шел по небесам, его сопровождали зарницы.

А потом все кончилось.

То есть оно кончилось не сразу. В понедельник двадцать восьмого Пряничков сидел в редакционной комнате один и, пользуясь обеденным перерывом, составлял тезисы к докладу на Московском прогностическом обществе «Нравственность — производительная сила». Он написал фразу «Будущее нельзя предсказать, его можно только сделать», и вдруг ему стало скучно.

Это было как волна. Гостиничная улица за окном потускнела, по тротуарам шли не люди, а болезни и недомогания. Все выцвело, сделалось двумерным. Пряничков частично оглох и попал в какой-то вакуум. Доклад был уже неинтересен. Федя отодвинул лист, зевнул. Подумалось, что жарница-то ведь все не кончается. Его клонило в сон.

Так длилось минуту, затем волна схлынула. Мир вокруг ожил, снова стал местом деяния и побед.

Но Федя предупреждение принял. Мгновенно убрал тезисы в стол, не теряя ни секунды, побежал к редактору, отпросился с работы. Объехал несколько книжных магазинов, метнулся в «Реактивы» на улице 25 Октября. Домой он привез оборудование маленькой химической лаборатории, полтора десятка книг по органике, биологии, медицине. За вечер и ночь он перевернул несколько тысяч страниц, заставил себя вспомнить те строчки и абзацы, которые успел увидеть тогда в дерматиновой тетради, а утром приступил к опытам. Понимая грозящую опасность, он взвешивал, смесивал, взгонял, перегонял, выпаривал, поджаривал и к трем

часам увидел, что успех близок. Длиннющая формула была выведена на листке из блокнота, в пробирочке на дне хлопьями выпало в осадок некое белое вещество.

Федя вздохнул счастливо и утомленно. Играли невидимые оркестры, сверхзвезды ощутимо взрывались в дальних краях нашей Галактики.

Он поднял руку, но в этот миг оркестры умолкли, мир стал сужаться все стремительней и стремительней и в конце концов весь ограничился низкой, душной, полетнему жаркой комнатой на улице Кондратюка.

Федино лицо переменялось, он брюзгливо вытянул губы, с неудовольствием глядя на пробирку. Протянутая рука опустилась.

Шура пришла в шесть, молодая, оживленная, с новой прической, открыла дверь своим ключом. В проходной комнате мужа не было, стол загромождали колбы, реторты, змеевики, пахло химией. Шура прошла в маленькую.

Пряничков сидел у заросшего за последние недели пылью телевизора и тупо смотрел на экран. Шла передача о футбольном матче. Передвигались безликие фигурки, бегало светлое пятнышко. Раздавался монотонный голос комментатора: «Парамонов... Петров... Пас Макарову... Опять Парамонов... Петров...»

И это был конец.

Услышав дыхание за спиной, Федя поднял на супругу унылый взгляд, не здороваясь, сказал:

— Ты... это... Убери там.

Шура сразу все поняла, шагнула назад, тихонько переделалась у шкафа. Потом звенела химическая посуда, сыпаемая в ведро. Листок с формулой привлек внимание Шуры, она заглянула с ним к мужу.

— Тоже выбросить?

Пряничков не повернулся и не ответил.

Шура вынесла одно ведро, второе, третье — особенно тяжелыми были тубики с красками, бутылочки с растворителями и фиксаторами. Потом она взялась мыть пол.

В последующие дни сами собой рассасывались, исчезали инструменты и ноты, один мольберт, другой. Токарный станочек переехал на Преображенский рынок. Понемногу резмигрировала мебель. Когда вернулась из пионерлагеря Наташа, на своих местах стояли книжный шкаф, торшер с двумя рожками, трюмо, а в конце августа торжественно въехал и воцарился сервант.

С двойственным чувством смотрела Шура, как втаскивают махину плаксивые ильи муромцы. Какая-то легкая грусть свербил в сердце, но вместе с тем было недурно подтвердить себе, что теперь у них в квартире «все, как у людей» — ведь ленивый, бестревожный сон разума тоже имеет свои лукавые преимущества.

Еще около месяца, правда, по инерции приходили верстки, сверки статей и рассказов, раздирался в прихожей телефон, призывая Пряничкова на обсуждения, почтальон нес телеграммы из филармонии, приглашительные билеты в Союз художников, Всесоюзное театральное общество и «Диафильм». Но все это было обращено к прежнему Феде, которого не существовало уже. Нынешний от всех приглашений отрекался безоговорочно, сверки подписывал, не проглядывая и только осведомляясь о датах выплаты гонорара. Несколько вечеров еще заглядывали было новые знакомые, но Федя смотрел на гостей с такой угрюмой подозрительностью, что вскоре все визиты прекратились.

Сейчас в доме Пряничковых девочка со своими уроками теснится где-нибудь на уголке полированного

стола, откидывая край скатерти. Шура употребляет субботу и воскресенье на уход за многочисленными лакированными поверхностями. Лоснится навощенный пол по обязанности раз в квартал приехавшие родственники в передней снимают ботинки и туфли, как перед входом в мечеть, сидят смирно, помалкивают.

В редакции «Знания и жизни» опять думают, отчего бы это Пряничкову не перейти в какой-нибудь другой журнал. Авторы он не ставит ни во что, а когда ему пытаются возражать на «Все уже было» и «Ничего не выйдет», сказанное падает вниз, в яму его сознания, мягко и без отклика, как тряпка, и копится там неподвижной кучей, неразобранной, стылой.

Эпоху своего короткого взлета Федя вспоминать не любит. В Третьяковку его не затащить, собственные публикации той поры он прочесть отказался. Вообще, внезапное увлечение искусством, готовность каждому помочь и всем интересоваться представляются ему теперь неким баловством или даже заболеванием, которых надо стыдиться.

И только редко-редко, когда он один в квартире, а по радио передают настоящую прекрасную музыку, им овладевает беспокойство, маленькие глазки расширяются, в них возникают жалоба и тоска, как у собаки, которая хотела бы принадлежать к миру людей, но понимает свою безгласность и мучается этим пониманием. Что-то заперто в его душе, забито, отгорожено сплошными железными обручами от того ряда, где могло бы стать чувством, мыслью, действием.

Такова история, приключившаяся с Федей Пряничковым. Она наводит на некоторые размышления.

Интересно было бы, например, припомнить в этой связи опыты доктора Райковского, которые тот начал



еще задолго до появления в Москве бородатого незнакомца. Райковский гипнотизировал добровольцев, в этом состоянии предлагал им рисовать, и за несколько сеансов испытуемые достигали уровня выпускников средней художественной школы. Если с кем-нибудь ничего не получалось, Райковский брался за обучение такого человека музыке либо чему-нибудь еще и в результате пришел к выводу, что людей следует делить на группы не по способностям — одни талантливы, а другие нет, — а по тому, как, в какой форме тому или иному лицу удобнее свои таланты материализовать.

Не исключено, что, гипнотизируя своих добровольцев, доктор как раз и прорывался сквозь те железные обручи, которые таблетка на время разрушила у Феди.

Райковскому же принадлежит мнение, высказанное, естественно, без всякой абсолютизации, что гипноз не есть сон, а скорее пробуждение. Тут он опять-таки предвосхитил бородача, написавшего в той тетрадке, что множество людей спит.

Ну, а что, если это так на самом деле?

Если многие из нас частично спят не только в смысле нормальных ежесуточных семи-восьми часов, а в более широком плане? Ведь, вероятно, есть даже такие бедняги, что всю жизнь до последней минуты проводят, проживают в какой-то дреме, запертыми, хотя и выполняя вроде бы все, что человеку положено, то есть кончая школу и вуз, заводя детей, где-то работая и получая порой поощрения, но так и не просыпаясь.

Вместе с тем невольно задаешься еще одним вопросом. Раз такой вот Федя смог радужно расцветиться, приняв таблетку, отчего это недоступно всем, в том числе и просто рядовым гражданам, как, например, мы с вами, многоуважаемый товарищ читатель?

А с другой стороны, обязательна ли химия, нельзя ли без нее обойтись? Проснулась же Наташа — вот именно Наташа, Фекина дочка. Что-то соскочило в ней, она пробудилась, сдвинулась со своей «Старинной французской», пошла вперед и с каждым днем идет все быстрее. Тоненькая такая, а как сядет за инструмент... Пряничковы от уроков отказались, потому что Феде это напоминало о недавнем прошлом. Однако Наташа сама встречается с Иветтой Митрофановной, а недавно муж этой учительницы, встрепанный музыкант, водил девочку в Институт имени Гнесиных, там послушали и сказали, что примут.

Другими словами, нет ли чего-нибудь такого в современной атмосфере, что само по себе начинает нас открывать и пробуждать? Может быть, и не надо обвинять в предательстве того бородатого здоровяка, который позволил своему изобретению погибнуть. — его, кстати, долго искали потом, но так и не нашли. Возможно, что он даже сознательно пошел на некую демонстрацию, а там предоставил процессу развиваться самостоятельно — рассудил, что получить способности от таблетки кой-кому показалось бы унижительным.

Дело, видимо, в том, что в течение сотен тысячелетий человека давила природа, приходится ли удивляться, что некоторое хорошее в нем приторможено и частично спит? Но теперь это позади, родилось новое, и не пора ли всем окончательно пробудиться.

В чем, собственно, вопрос-то?..

# Содержание

Идет человек . . . . .	3
Ночная сигнальная . . . . .	23
Зверек . . . . .	59
Электрическое вдохновение . . . . .	85
Операция . . . . .	108
Винсент Ван Гог . . . . .	122
Кристалл . . . . .	213
Пробуждение . . . . .	239

**Гансовский Север Феликсович**

ИДЕТ ЧЕЛОВЕК. Сборник науч.-фантаст. повестей и рассказов. М., «Молодая гвардия», 1971

2/2 с., с илл. (Библиотека советской фантастики). р2

Редактор **С. Михайлова**

Художественный редактор **Б. Федотов**

Технический редактор **А. Захарова**

Корректоры **К. Пипикова, А. Долидзе**

Сдано в набор 30/IX 1970 г. Подписано к печати 13/1 1971 г. А01115. Формат 70×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага № 2. Печ. л. 8,5 (усл. 11,9). Уч.-изд. л. 11,3. Тираж 100 000 экз. Заказ 1785. Цена 33 коп. Т. П. 1970 г., № 226.

Типография изд-ва ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия», Москва, А-30, Суцеская, 21.



Сканирование - Беспалов  
DjVu-кодирование - Беспалов



33 коп.

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ